

ВАЛЕНТИН КОСТЫЛЁВ

КУЗЬМА МИНИН



Всемирная история в романах

Валентин Костылев

Кузьма Минин

«ВЕЧЕ»

1939

Костылев В. И.

Кузьма Минин / В. И. Костылев — «ВЕЧЕ», 1939 — (Всемирная история в романах)

Валентин Иванович Костылёв (1884–1950), русский писатель, известный, прежде всего, своей исторической трилогией «Иван Грозный», получившей в 1948 году Сталинскую премию. Однако «Кузьма Минин» по праву считается одним из лучших романов Костылёва. В нем повествуется о славном и трудном времени на Руси, о героической борьбе народа за независимость, о любви и верности, хотя главным героем романа выступает нижегородец Кузьма Минин, инициатор сбора и один из руководителей народного ополчения 1611–1612 годов, освободившего Москву от польских интервентов.

© Костылев В. И., 1939

© ВЕЧЕ, 1939

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	8
III	12
IV	16
V	18
VI	23
VII	28
VIII	33
IX	37
X	42
XI	48
XII	56
XIII	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Валентин Костылев

Кузьма Минин

©Костылёв В.И., 2012

©ООО «Издательство «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Светлой памяти народного героя Валерия Павловича Чкалова.
Автор

Часть первая

I

Подожженная вражескими гусарами деревня Тихие Сосны догорала. Вопли женщин, детский плач, треск и грохот рассыпавшихся в огне изб раздавались кругом. Королевские всадники беззаботно поглядывали на полураздетых, босоногих людей, убегающих по мерзлой земле в лес.

Гаврилка Ортемьев, как и другие его односельчане, в эту ночь бежал из дому.

В этой суматохе Гаврилка потерял отца, мать, братьев. За ним потехи ради рванулся в погоню один из гусаров, отогнал его далеко, в сторону, к Днепру. Гаврилка переправился через реку, чтобы укрыться в единственном убежище – в крепости Смоленск. Объятая душной мглой пожарищ, она чернела на горе – большая, грозно насторожившаяся. Ползком перебрался Гаврилка через крепостной вал.

Соседство с польскими войсками, не раз осаждавшими Смоленск, приучило жителей Тихих Сосен к опасностям. И то, что теперь произошло, не было неожиданностью. К этому были готовы.

В семье Гаврилки старики часто молились о смерти, но ему хотелось жить! Храбрость и стойкость смолян, полтора года отражавших приступы поляков, научили его быть выносливым и твердым в самые тяжелые, тоскливые дни.

Давно он лелеял мысль самому сразиться с врагами, испробовать в бою свою силу. А он ее чувствовал в себе: коренастый, немного сутулый, широкоплечий, он побивал в кулачных боях самых завзятых бойцов. Можно ли ему так легко, как советовали старики, покориться судьбе?

Бесплодные штурмы Смоленска поднимали дух не только у Гаврилки. Многие крестьяне, видя неудачи панов, ушли в лесные дебри и оттуда совершали смелые набеги на Московскую дорогу. Они ловили королевских гонцов, нападали на польские обозы и патрули. Поляки прозвали их шишами, то есть бродягами, сбродом, разбойниками.

Гаврилку не тянуло в лес. Куда лучше казалось бить поляков из крепости огненным боем. Ведь недаром же его учил стрельбе смоленский пушкарь Данила Сомов.

Это было до нашествия поляков на Московское государство, до лета 1610-го. В праздники взбирался он на четырехугольную башню близ Копытинских ворот и подолгу слушал чудесные рассказы старого смоленского пушкаря о войне. У Гаврилки появилось уважение к бронзовым машинам, глядевшим своими жерлами из бойничных окон. Парень с особым усердием протирал куделью таинственную пасть орудия.

Светило солнце. Сквозь прорези башенных зубцов снизу, среди зелени синел Днепр. Над остроконечной вершиной Копытинской башни в небе кружили ястреба. Гаврилке вспомнились эти дни, и его неудержимо потянуло опять туда, к большой пушке, которую старик Данила почему-то звал «хозяйкой» («моя хозяйка»).

Седой привратник занес бердыш над головою парня, опросил его и после этого впустил внутрь.

– Сожгли? – кинул он в сторону зарева.

– Да... – грустно вздохнул Гаврилка.

– Лютуют... Чего там! Горе. Вчера тоже вот Овчинникову гать... Каждый день жгут...

Гаврилка перебрался через второй высокий внутренний вал. Здесь его окружили караульные стрельцы и повели в Воеводскую избу «для сыску», Разузнав, кто он и зачем явился в крепость, стрелецкий десятник для достоверности отвел его к пушкарю Даниле Сомову. Тот

признал парня и согласился взять к себе. Данила предупредил: не следует верить затишью. Надо быть настороже.

– Того и жди, опять пойдут, – вздохнул он. – Тайком, проклятые, роют норы, тшятся пролезть под землю. Приказывают московским послам явиться к королю говорить о мире... а сами роют и роют. Хорош мир! Не мира хотят они, а нашей гибели... Не будь простоволосым, парень, гляди зорко.

Гаврилка и без того знал, что такое сладкие речи панов... Давно ли в Тихие Сосны приезжал их региментарь¹, клянясь, будто король жалеет русских тяглецов-крестьян, будто идет он против боярской смуты, хочет образумить алчных вотчинников и дать волю крестьянам...

И о московских послах, прибывших от Боярской думы в королевскую ставку под Смоленск, известно было крестьянам. Просят послы отпустить в Москву на царский престол королевича Владислава да увести польские войска из Московского государства. Король – ни «да», ни «нет», – томит послов. Ожидается новая беседа послов с панам.

В деревнях рассудили так: умыслил он присоединить Русь к Польше, чтобы вогнать крестьянство в еще большую кабалу, нежели то было прежде, при московских царях. Тогда крестьяне были рабами только русских бояр и дворян, а теперь их хотят сделать еще и рабами польской шляхты. Тогда давил один тиран, а при королевском иге будут два тирана. Четыре года назад народу под началом Болотникова не удалось свергнуть дворянское иго, а при двойном иге и вовсе никогда не вылезешь из кабалы! Об этом много разговоров было в Тихих Соснах. Народ истомился в крепостной неволе, но и мысли не допускал, что иноземные завоеватели могут быть полезны ему. Не верил ни в какую помощь со стороны русский народ, верил только в свои силы.

Гаврилка, дрожа от горечи и гнева, глядел между зубцов башни на догорающие остатки Тихих Сосен. А пушкарь Данила утешал:

– Не горюй, парень! Все одно умирать. Так мы тут и решили на земском сходе: всем полечь, а не сдаваться... Две трети нас осталось... Одна треть уже полегла в боях и от цинги... И мы будем биться до последнего.

¹ Региментарь – начальник посольской части, полковой командир.

II

Великий канцлер Лев Сапега принял вызванных в королевскую ставку московских послов. Возглавлял посольство на этот раз князь Василий Васильевич Голицын. Другой великий посол, Филарет Никитич Романов, сославшись на болезнь, в ставку не пошел.

– Итак, – заявил Сапега, – нам с вами настало время решить судьбу Московии! Пора и Смоленску образумиться, а вам, послам, убедить боярина Шеина склонить свои знамена перед Речью Посполитой². Он должен сдать крепость без замедления.

Сапега прочитал грамоту, полученную им из Москвы от семи бояр, управлявших государством после свержения царя Василия Шуйского. В этой грамоте послам приказывалось поступать во всем согласно королевской воле.

– За известие о боярской грамоте низко кланяемся, – сказал Голицын, – но Смоленска отдать не можем. Посланы мы не от одних бояр, а и от патриарха, и всего священного собора, и от всех чинов, и от всей земли и отвечать должны перед ними. Нынешняя же грамота прислана одними боярами, и то не всеми. А от всего народа никакой грамоты к нам нет. Можем ли мы отдавать свою родную мать-землю без всенародного земского схода?

– Rola – mac kto jej moze rade de³ – усмехнулся Сапега.

– Истинно, вельможный пан!.. Но мы пока того не видим, чтобы вы хорошо нами управляли. Мы видим убийства, пожары, грабежи...

Сапега побагровел:

– Вы мудрите! Опасайтесь!.. Как бы мы вас не перемудрили.

Тогда вперед выступил, мягко, на носках, приземистый дьяк Томило Луговской. Тряхнул своими пышными кудрями, добродушно улыбнулся:

– Просим прощенья, господа паны! У нас говорят: корми, как земля кормит; учи, как земля учит; люби, как земля любит. Так-то, милостивые паны! Можете ли вы огнем и мечом удовлетворить нас?! Подумайте!

Сапега, прищулив глаза, высокомерно осмотрел Луговского.

– Хитрить изволите, – процедил он сквозь зубы.

Шумно поднялся со своего места начальник осады Ян Потоцкий, сказал что-то Сапеге по-латыни. Все паны вместе с Потоцким и канцлером удалились в соседнюю комнату.

Томило Луговской в отсутствие их начал осуждать митрополита Филарета Никитича Романова за то, что он не пошел на сегодняшнее свидание с панамы. Голицын, слушая Луговского, улыбнулся, промолчал. Не время раздорам. Пускай люди доказывают, что он, Голицын, имеет больше Романовых прав на престол, – сам он теперь об этом не скажет ни слова. Василий Васильевич старался в посольских делах ставить Филарета на первое место, но митрополит сам избегает встреч с панамы и споров с ними... Вот и теперь... явно схитрил...

Послы особенно ревниво следили за тем, чтобы никто не уклонялся от встреч с панамы. Положение день ото дня ухудшалось. Настойчивость Голицына и других послов начинала приводить панов в бешенство. Каждый день могла разразиться королевская гроза над посольским лагерем. Это многие поняли. И, тайно приняв сторону Сигизмунда, под тем или иным предлогом уехали в Москву. Так поступил и келарь Авраамий Палицын, прославленный монахами Сергиевской лавры как герой. Он получил от Сигизмунда, вместе с новоспасским архимандритом Евфимием, отпускную грамоту к патриарху. В ней говорилось, что они приходили к королю от всего Московского государства с послами бить челом о королевиче, что король их челобитье слушал и отпустил их в Москву.

² Речь Посполитая – польское королевство.

³ Земля – мать тому, кто с ней умеет обращаться.

Из сверхтысячного посольства осталось всего человек тридцать, твердых, неуступчивых.

Дверь сенаторских покоев отворилась. В комнату опять вошли Сапега, Потоцкий и другие паны-сенаторы. Лица их были надменны; у некоторых на губах играла насмешливая улыбка.

Сапега в первый раз позволил себе вести беседу с послами, развалившись в кресле, подчеркнув тем самым перемену в обращении с ними. Паны, подражая ему, каждый по-своему, старались показать, что у ясновельможной шляхты нет никакого уважения к послам, что они не признают их за настоящих послов, считают их ниже себя. Сапега заявил, польские власти, мол, оказывают им, послам, большую честь, терпеливо поддерживая эти нескончаемые переговоры.

– В прошедшие дни вы ссылались на то, – сказал Сапега, – что у вас нет приказа от своего правительства.

Но теперь приказ, подписанный главою правительства князем Мстиславским, получен, а вы упрямитесь и не желаете подчиниться королевской воле.

Голицын, на этот раз тоже сидя в кресле, ответил:

– Но не ты ли, пан гетман, уверял нас, что его королевское величество позволил крест целовать одному токмо королевичу? И к тому же не ты ли обещал увести войска свои из России? Чего же ради отпираешься ныне от своих обещаний?!

– Может ли его величество отпустить сына без сопровождения войска?.. Подумайте! Кто из вас поручится за безопасность жизни королевича в Москве? И какие же вы послы, если не слушаете своего правительства?

Положение Голицына и послов становилось затруднительным. Они, действительно, отказывались исполнить приказ своего боярского правительства. Голицын с достоинством спокойно ответил:

– Семь кремлевских бояр-правителей меньше знают, нежели мы. Нас отпускали от всей земли. От одних бояр мы бы и не поехали.

Сапега полунасмешливо произнес:

– Дух святой вложил прояснение вашим семи боярам... Они теми же словами вам указывают, какими и мы от вас того же требовали. Кто, как не бог, открыл им все это? Вам тем паче надлежит повиноваться воле его крулевского величества. Патриарх – духовная особа, ему не до земского дела... А народ? Стоит ли о нем говорить?..

– Земские люди – великая сила в нашей стране... – заметил ему Голицын. – Это народ!

Кое-кому из высокородных русских дворян, находившихся в посольстве, не нравилось, что Голицын постоянно ссылается на земских людей, то есть на посадских и крестьян.

Канцлер знал о таких настроениях среди бояр.

– Давно ли русские князья стали холопами своих холопов? – язвительно спросил он.

Голицын горько усмехнулся.

– С тех пор, – ответил он, – как паны захотели сделать русских князей своими холопами...

Сапега, не удостоив его ответом, строго сказал:

– Смоляне в упорстве своем закоснели... Они хотят с вами, послами, увидаться и говорить. «Что наши послы прикажут, то мы и учиним», – заявили они.

– Такой ответ достойно слушать, – с радостью произнес Голицын.

Послы не скрывали того, что они довольны стойкостью смолян. Сидевшее в Московском Кремле Семибоярщина, по-видимому, стало уступать панским требованиям. Смоленский воевода не желал идти на поводу у Семибоярщина. Московские послы также решили действовать самостоятельно.

Пребывание в польско-немецком стане многое уяснило им. А вчера они убедились и в том, что поработенная Польшей Литва отнюдь не вся на стороне Сигизмунда. Многие литовские люди тайно приходили в шатры к послам, высказывая свое сочувствие и желание отло-

житься от Польши. Они доказывали, что Литва ближе, роднее москвитянам, нежели панам. Жаловались и на иезуитов, стремящихся расторгнуть союз Западной Руси с Восточною, искоренить в Литовском княжестве все русское.

Москва, находившаяся за спиною послов, выросла в глазах послов и представлялась им уже не такую беспомощною. Сами паны это, конечно, чувствуют и потому торопятся скорее покончить со Смоленском.

– Ну, о чем же вы задумались? – ледяным тоном спросил Сапега. – Чего молчите? Вы хотите, чтобы лилась христианская кровь? Бог за нее с вас взыщет.

Голицын сказал:

– У гетмана Жолкевского было пять тысяч войска, когда он подошел к Москве, а у нас тридцать. Мы могли бы драться с гетманом и победили бы, но бояре пустили вас в Кремль, поверив, что вы явились к нам как союзники против бунтующих крестьян и тушинского вора... Но можно ли теперь назвать польский гарнизон в Москве союзниками? Не пан ли Гонсевский удалил в уезды стрельцов и проливает в Москве невинную кровь? Вы обманули нас.

– Пан Гонсевский карает заговорщиков и бунтовщиков. Если вы не хотите попасть в их число, то должны приказать Шеину сдать Смоленск.

– Такого приказа мы не дадим! – категорически ответил Голицын.

Нарушив порядок посольского обмена мнениями, Потоцкий, красный, возбужденный, вскочил со своего места и, перебив канцлера, громко закричал:

– Потом пожалеете!.. Вы принудите нас разговаривать по-другому!

Палата огласилась негодующими криками шляхты. Некоторые из панов размахивали кулаками, грозя «камня на камне не оставить от Смоленска».

Уходя вместе с послами, Голицын сказал Сапеге, указывая на его окружение:

– Паны слишком откровенно изъявляют свое «доброжелательство» к Московии; не привыкли мы к таким разговорам и угроз не убоимся!..

* * *

Сапега долго стоял в раздумье около дверей королевских покоев, а потом вошел к королю сильно смущенный, ожидая гневных нападков и упреков с его стороны.

Сигизмунд сидел перед зеркалом, охорашивая свои пышные усы, закрученные вверх. Взглянув на отражение Сапеги в зеркале, он, плохо выговаривая польские слова, спросил:

– Что нового, канцлер?

– Голицын упрям по-прежнему, ваше величество.

Сапега с трепетом смотрел искоса на освещенную в зеркале остроконечную королевскую бороду. Ему удалось увидеть слегка накрашенные королевские губы, на них играла благодушная усмешка. У канцлера отлегло от сердца.

– Послушайте, Сапега... Пошлите от меня гонца к Шеину. Внушите ему, что Москва присягнула мне, королю... Обманите упряма. Гоните скорее, а послов окружите стражей... будто бы для охраны их от солдатского гнева, а на самом деле, чтобы они не снеслись с Шеиным. – Король вздохнул. – Удивительное п-л-э-мя!

– Но поверит ли он? – робко спросил канцлер.

– А не поверит – на приступ пойдем... Завтра же на приступ!

Канцлер поклонился и, быстро написав тут же, в королевских покоях, письмо, подал Сигизмунду. Тот, прочитав, махнул рукой.

– Обещайте награду!

Король был в игривом настроении. (Приехал старый друг из его родной Швеции – Себергрен. В честь его готовился бал.)

На буйном коне в крепость помчался, держа высоко на копье белый флаг, гонец канцлера, самый красивый из шляхтичей. Шлем его украшали развевающиеся перья, за плечами серебристые крылья, лошадь в пурпурной с золотом попоне, а на ее голове медный шлем с пышным страусовым султаном.

Шеин велел открыть башенные ворота. Он принял гонца ласково, с лукавой улыбкой оглядел его, а потом усадил за стол, угостил вином в Воеводской избе. Прочитал грамоту не торопясь. Покачал головой и молча написал:

«Хотя Москва королю крест и целовала – и то сделалось на Москве от изменников. Изменники-бояре осилили. А мне Смоленска королю не сдавать и ему креста не целовать, и будем биться с королем до тех мест, как сила будет...».

Шляхтич низко поклонился Шеину и стремительно понесся с его ответом в королевскую ставку.

III

Приуныл посольский лагерь. Боярская грамота явилась доказательством того, что партия «королевских советников» (Салтыков, Андронов, Масальский и другие) перетянула московское боярское правительство на сторону короля.

Вчера, после свидания с послами, Сапега послал Голицыну грамоту: «Секира лежит при корени дерева. Если вы не сделаете по воле королевской и не впустите в Смоленск наших людей, то увидите, что завтра будет со Смоленском».

Голицын ответил: «Мы требуем полного увода, всех до единого, польских солдат из русской земли... Ни одного вашего воина не должно оставаться на нашей земле!»

Пришла еще записка. Канцлер пытался запугать послов шведами, забиравшими города на северо-западе, пугал тушинским самозванцем, к которому ушло из Москвы триста дворян. Послы остались при своем: добровольно не сдавать Смоленска.

И вот эта ночь!.. Свою угрозу паны приводят в исполнение: воевода Потоцкий разрушает Смоленск. Разгневался король, ожесточились шляхтичи, озверели утомленные долгой, безуспешной осадой солдаты и полчища немецких наемников – все пришло в движение: люди, кони, пушки.

В последние дни жолнеры⁴ и загнанные плетью в канавы пленники, словно кроты, изрыли землю вокруг крепости. Немецкий инженер Апельман провел подступной ров к четверугольной башне влево от Копытинских ворот. Прошлою осенью осажденные взорвали часть этого рва, но Апельман, не щадя людей, под огнем смоленских бойцов, снова исправил повреждение. Довел ров до самого основания башни. Здесь землекопы наткнулись на глубокий фундамент из крепкого тесаного камня. Пришлось остановиться. Потоцкий бил огнем именно по этому месту.

В отсветах начавшегося орудийного боя по земле ползали тени башен... Жутко рывкали польские орудия, долбя крепостную стену. Им отвечали пушки смолян. Облака красноватого дыма медленно расплывались в тихом воздухе.

Большое, покрытое первым снегом поле казалось пустынным, но ни для кого не было тайной, что панская пехота где-то тут поблизости, во тьме, хоронится за высокими насыпями-турами, готовая каждую минуту пойти на приступ.

Но вот королевский стан огласился барабанным боем, уханьем литавр и стоном рожков... Послышался топот и рев бегущих солдат. Закашляли самопалы, с новой яростью ударили по крепости пушки... Сигизмундово войско, снабженное кулями, набитыми мхом, лестницами, выбивными ступами, зажигательными приборами, двинулось на приступ.

Земля дрогнула от взрывов мин, подложенных под стену... Всюду вспыхивали огоньки ружейных выстрелов.

Голицын снял шлем, перекрестился.

– Буянов! – дотронулся он дрожащей рукой до своего телохранителя-стрельца. – Слышишь?! Буянов! Нам бы в крепость! О господи!

Филарет встал на колени, произнося вразумительно, неторопливо вслух молитву.

Стрелец пытался успокоить своего начальника:

– Мужественная твердость на Руси издавна. Заstraщаешь ли стенобитием Михаила Борисыча?!

Хотел еще что-то сказать, но гром нового взрыва заглушил его. Ядро польского орудия попало в один из пороховых погребов. Заплясали огненные вихри по стенам, туча искр полетела в поднебесье.

⁴ Жолнеры – солдаты-пехотинцы в польской армии.

– Гляди, гляди!.. – крикнул Филарет. – Стены градские усыпаны народом!..

При ярком желтом свете пожара, действительно, показались суетливые маленькие фигурки оборонявшихся смолян. Отчетливо видны были знамена с колеблющимися от огненной бури длинными концами. Замелькали огни во всех тридцати восьми крепостных башнях. Крепость вступила в бой.

– Держись! Сто-о-ой! – кинулся вперед Голицын, как будто его могли отсюда услышать.

Буянов испуганно последовал за ним:

– Князь! Опасно! Обожди!

Филарет рассердился:

– Что с тобой?! – грубо дернул он Голицына за рукав. – Вчера сам же дал тайный приказ не сдаваться?! Небось не сдадутся.

Голицын притих, вглядываясь в ту сторону, где шел бой.

Когда масса врагов повалила в пролом стены, загремел тревожный набат всех смоленских колоколен. Пушечный огонь потоком хлынул с крепостных башен, разметав толпы осаждавших. Смоляне с флангов неумоимо громили панскую пехоту.

Голицын опять пришел в беспокойство. Казалось, он сошел с ума: рвался вперед, кричал что-то, с силой отталкивал от себя митрополита и Буянова.

– Василь Васильич!.. Васильич! Опомнись! Бог с тобой! – уговаривал его Филарет. – Великие дела решаются в спокойствии... с умом! Ты посол, а не воин! Спаси бог, услышат! Остепенись!..

Стрельцу не нравились причитания митрополита. Не раз он, Буянов, бывал с Голицыным в боях, не раз он вместе с другими воинами заражался боевой отвагой, которая всегда кипела в душе Василия Васильевича. Ну, разве понять монаху, бывшему боярину Романову, что творится в душе истинного воина!

* * *

Ворвавшийся неожиданно в пролом стены свежий наемный полк немецкой пехоты наткнулся на высокий вал – внутреннюю защиту Смоленска. Немцев встретили огонь и туча стрел. Полуразрушенная стена около Копытинских ворот рухнула. Под ее обломками погибло много врагов, а успевшие проскочить оказались в западне. Женщины и подростки, столпившись на валу, опрокидывали вниз ушаты с кипятком, закидывали немцев камнями, ослепляющим песком. С факелами, саблями и длинными копьями в руках немецкие наемники упрямо карабкались на вал. Они гнусно ругались, проклиная смолян, и снова скатывались вниз. Смоленский воевода Шеин появлялся то здесь, то там, ласково подбадривая народ. В одном месте немцам удалось вскочить на хребет вала, но Шеин бросился туда, вступил с ними в отчаянную борьбу. На помощь прибежала толпа горожан. Общими усилиями сбросили немцев вниз.

Теперь пушечный грохот перешел в унылый, однообразный гул. Полякам удалось пробить стену и со стороны Днепра, – туда направились в пешем строю стоявшие в резерве пять гусарских рот. Стройными рядами, держа перед собой громадные с вытисненными крестами железные щиты, подошли они под предводительством боевого старосты Струся к замерзшему широкому рву. Несколько человек, ступивших на тонкий лед, провалилось и утонуло. Положив на головы тяжелые щиты, раздосадованное гусарское войско, похожее на полчище большущих черепах, позвякивая железом, круто повернуло обратно в свои земляные норы.

Орудийная пальба прекратилась.

Казалось, наступило затишье. Можно было бы отдохнуть. Но только что смоляне оправились после боя, как увидели при свете фитилей своего воеводу между зубцов угловой башни. Он спешно навел орудия на отступавших немцев. Радостно вскрикнули все бывшие на валу при виде того смятения, которое произошло в беспорядочно бежавшей толпе врагов.

Смоленский архиепископ Сергей с крестом в руках поднялся на башню и плачущим голосом стал умолять Шеина прекратить стрельбу, не озлоблять короля, сдать ему город... Черный, косматый, он уцепился левой рукой за кольчугу Шеина, произнося свои заклинания, лез лобызаться, мешал военным распоряжениям.

– Уйди! – оттолкнул его Михаил Борисыч. – Не склоняй к бесславию. Уйди!

Узенькие глазки архиепископа стали злыми. Он спустился с башни на вал, всенародно осуждая воеводу.

– Вот бы кого к Жигимонду⁵! Въяве помогает врагу, – проворчал Шеин и, как бы назло трусливому иерарху, с еще большим усердием развил огонь по неприятелю.

Раздосадованный неудачей, гетман Потоцкий снова повел свои войска на приступ. На глазах смолян под огнем польских орудий распалась на три части красавица Грановитая башня, а с нею рухнула и прилегающая к ней часть стены.

Воевода с немногими ратниками поспешил к этой новой пробоине. Лучшие части запасной неприятельской пехоты пошли в атаку.

Опять завязался бой. Жители Смоленска и съехавшиеся в город крестьяне, все от мала до велика, вступили в схватку с врагом; били его кто и чем попало: кто из пращи, кто бердышами, кто рогатиной, кто вилами.

И этот штурм потерпел неудачу. Потеряв много воинов убитыми и ранеными, Потоцкий отступил ни с чем.

Следом за неприятелем жители города спустились с вала заделывать пробоину в стене. Работали дружно, не страшась неприятельских пуль и ядер. Вчерашняя угроза короля осталась пустой похвальбой: защитники Смоленска отстояли свой город.

Гордо застыла во мраке Днепровская пятнадцатисаженная башня, оцетинясь в сторону врага многими пушками с пятиярусных бойниц. И как бы соперничая с нею, тяжелой глыбой нависала над крепостными валами Молоховская башня. Пробившийся сквозь облака лунный свет посеребрил тесовый шатер ее верхушки и выпуклые каменные пояса ее бойниц.

Недаром бывшие в войске Сигизмунда иностранные гости называли смоленскую крепость «неприступной». Подъемные мосты, двойные брусяные ворота, спускные решетки, а за стенами восьмисаженный ров с высокой бревенчатой оградой – и все это, по выражению самих смолян, делало их крепость «непобедимым укреплением».

На Днепре выла подстреленная шальной пулей собака. Мирно светили звезды.

* * *

Шеин обошел смоленские стены. Осмотрел поле, берег Днепра. На снегу лежали убитые и раненые.

Шеина сопровождало несколько стрельцов. Везде, в башнях и на стене, ходили «караульные мужики» и посадские. При появлении Михаила Борисыча они низко ему кланялись.

На четвероугольной башне, близ Копытинских ворот, Шеин увидел того самого парня, который на днях открыл ему заговор нескольких боярских детей⁶ против него и который помог ему сбить пехоту в пробоине близ рухнувшей Грановитой башни.

– Как звать тебя? – спросил воевода, повернув парня лицом к лунному свету. – Молодой... смелый... честный... Давно я присматриваюсь к тебе.

– Гаврилкой Ортемьевым. Крепостной я Зарецкого князя... разоренец... из Тихих Сосен.

Шеин в раздумье взял его за руку и отвел в бойничную келью. Здесь с глазу на глаз воевода тихо сказал парню:

⁵ Сигизмунд.

⁶ Боярские дети – особая категория служилых дворян.

– Как видится, не ошибусь я. Слушай меня. Вот грамоты. Скинься вниз, беги в посольский табор, отнеси к князю Василию Голицыну, а другую – воеводе Ляпунову в Рязань. Да скажи: будем стоять до смерти. Берегись, не попадайся ляхам!..

Гаврилка взял грамоты, спрятал за пазуху, поклонился Шеину. Тот обнял его, перекрестил.

Мало кому воевода доверил бы это дело, но раскрытие Гаврилкой заговора расположило Шеина к нему. Случайно услышал Гаврилка, как вязьмичи – боярские дети – в башне говорили: «Завтра и позавтрее кровь христианская прольется, и город надо отпереть. Мы, вязьмичи, станем в прикрытии по башням со смолянами, которые тоже с нами будут, и учнем мужиков и посадских людей сечь. Шеин нас губит со своими посадскими людьми, королю и королевичу крест не целует. И мы Шеина, сгребя, выдадим за стену, будет и он с Шуйским в Польше пленником... Не хотим мы сидеть насмерть с Шеиным и посадскими...» За эти речи смоляне умертвили боярских детей.

Гаврилка низко поклонился:

– Добро, воевода. Прощай!..

Шеин продолжал:

– Крест целую народу: мы не сдадимся... А ты беги, куда прикажут послы... Беги по городам и посадам. Говори о нас. Сойди осторожно. Ногу не сломи, берегись!..

В темном углу, у выступа башни, спустил Гаврилку на мочальном канате сам Михаил Борисыч.

У подножия башни парень осмотрелся, перебрался через валы, пригнулся и пополз по полю в сторону посольского лагеря. Шеин с тревогой следил за ним.

IV

По всем дорогам от Москвы разбрелись шайки сапежинцев⁷, Лисовского и других панов атаманов, а также тушинские князьки, разбитые под Москвою. Многие из них пытались захватить Нижний Новгород. Богатый, расположенный на выгодном месте при слиянии рек Оки и Волги, не тронутый всеобщим разорением, он был лакомой приманкой для польских и тушинских атаманов⁸. Еще при Василии Шуйском они пытались овладеть им, но всякий раз под натиском нижегородцев отступали.

После налетов этих шаек от деревень и посадов оставались лишь угли и обгорелые трупы.

Однажды под вечер на муромских путях к Нижнему, в селе Погост, произошел великий переполох. Прибежали две женщины к старосте, закричали в голос. Оказалось, они видели в лесу многих польских всадников, пробиравшихся к Погосту.

Жители села стали молиться, приготовившись к неминуемой гибели. Некоторые из них, укутав в овчины детей, убежали в лес. Остальные решили: что в лесу умереть от голодной смерти, что от руки разбойников – все одно. Но случилось не так, как думали погостовцы.

Едва паны вошли в село, на них стремительно накинута толпа неизвестных всадников, выскочивших из леса. Замелькали мечи, сабли, копья. С гневными выкриками врубались в гущу поляков разъяренные витязи. Один за другим посыпались с коней польские гусары. Погостовская улица огласилась криками людей, лязганьем железа.

На снегу валялись уже убитые; тут же корчились в судорогах раненые.

Лужи крови темнели около дороги.

Вражеский отряд, привыкший без труда занимать мелкие селенья, не выдержал удара неведомых ратников, хорошо вооруженных, одетых в непроницаемую броню, плотно сидевших на своих громадных сытых конях...

Куда девалась спесь панов и немецких латников! Каждый из них стремился поскорее ускакать прочь. Из-за деревьев на них неожиданно нападали погостовские жители. Страшными вилами и дубинами они валили беглецов с коней. Мужчины, женщины и дети толпами бежали по опушке леса, не пропуская ни одного всадника.

Во время этой неожиданной сечи своею храбростью среди напавших особенно выделялся великан-бронник, немолодой широкоплечий боец, удивительно ловкий и подвижный, несмотря на свою громоздкость. Одет он был в дорогую мелкотканую кольчугу поверх обыкновенного охабня⁹, какие носили средние посадские обыватели. Голову его прикрывала круглая железная стрелецкая шапка с наушниками; вместо сапог он был обут в новенькие крестьянские лапти. Теперь, после боя, он был похож скорее на мирного крестьянина, нежели на воина, – так добродушно, с лукавой улыбкой, смотрели его черные глаза на обступивших его погостовских жителей.

Спокойно и с наивным довольством, поглаживая бороду, оглядел он землю, усеянную убитыми и ранеными, вздохнул, покачал головой, как будто говоря: «Э-эх, люди! Сами на рожон полезли...» Снял шапку, обтер с лица пот и перекрестился:

– Возблагодарим, братцы, господа бога, что помог нам... Помолимся о душах убиенных...

Стоявшие вблизи его ратники тоже сняли шлемы и в глубоком молчанье осенили себя крестом.

⁷ Сапежинцы – солдаты отряда Яна Сапеги, в сущности бандиты, грабители.

⁸ Тушинские атаманы – князья и дворяне, перешедшие к агенту Польши – Лжедмитрию II.

⁹ Охабень – верхняя одежда.

Повылезли из своих нор старики и старухи, собрались и те, что гонялись за врагами по околицам. Молча вздыхали, молились, говорить не хотелось.

– Коней ловите! – сдвинув брови, строго крикнул великан толпе. – Пригодятся! Одежку со шляхты, прости господи, тоже снимайте, а убиенных наших и ляхов с молитвою предайте земле... Хотя и не православные, однако и они подобие божие, люди. Бог им судья!

Погостовские поняли, что этот человек среди ратников старший; его все слушают, а особенно два молодых воина, которые все время держались около него. И ночевать он устроился с ними в одной избе, у старосты. Здесь он долго беседовал с теми двумя приближенными к нему воинами. Семья старосты слышала, как он говорил им:

– Ты, Родион Мосеев, и ты, Роман Пахомов, не торопитесь из Москвы. Выполните по совести приказ нижегородцев. Разузнайте все... И у Гермогена, патриарха, побывайте и земляка нашего, Буянова, навестите. Насчет Смоленска узнайте. Держится ли? Чует мое сердце, продают бояре нашу землю и всех нас продают проклятому королю. К весне и я вернусь в Нижний. Там сойдемся. А вы уж побудьте в Москве, обживитесь, разведайте обо всем.

Мосеев и Пахомов дали клятву исполнить наказ Нижнего Новгорода в точности, называя своего собеседника Кузьмой Миничем.

– Давно бы уж надо мне домой, – со вздохом сказал он, оглядывая сидевших за столом, – да вот, вишь, не приходится. Лезут, демоны!.. И у меня ведь есть сынок, уж велик... воевать может... Хотелось бы повидать его... Да как уйдешь-то? Вона сегодня што было! Из Мурома выбили супостатов, а они по деревням промышлять начали. Никак не угонишься за ними.

Он рассказал хозяевам дома, что нижегородские люди под начальством воеводы Алябьева давно уже обороняют свой город.

Немало хищников зарилось на Нижний.

Как ни трудно приходилось нижегородцам, всё же отстояли, – никому не удалось овладеть Нижним. Алябьев окончательно очистил окрестности города от врагов, но борьба не прекратилась. В соседних уездах нет-нет да появляются новые шайки. Нужно и с ними покончить.

– Однако, добрые люди... – задумчиво барабанил пальцами по столу, произнес Кузьма. – Нижний Новгород – еще не Русь. Пока не выгоним ляхов изо всех углов нашей земли, до тех пор нам не будет жизни. Не прискорбно ли: первопрестольная в руках злодеев!.. Можно ли успокоиться на благоденствии Нижнего, коли полземли русской в кабале у панов?!

Кузьма Минич назвал Родиона Мосеева и Романа Пахомова «очами и ушами нижегородцев».

Он сказал, что в Нижнем будут ждать с нетерпением их возвращения из Москвы.

Расстались на заре.

Всё население Погоста высыпало на волю при звуках трубы и громкого голоса Кузьмы.

Оба молодца сняли с себя кольчуги, шлемы и сабли и отдали стрельцу, провожавшему их.

Они остались в одежде странников: через плечо сумки, посохи в руках, а на груди медные кресты.

На прощанье Кузьма сказал:

– О Ляпунове узнайте. Что затевает он? С кем идет?! Истинные ли защитники с ним? Правду хотим знать, всю правду. Да берегитесь! Хороните свою тайну пуще глаза.

V

В один из притонов на окраине Москвы набились ночлежники.

Сюда же в эту ночь забрел и бывший при Лжедмитрии I патриархом, ныне – инок, Игнатий. Находясь в заточении в Чудовом монастыре, он часто отлучался из Кремля с позволения польских властей. Теперь он обнищал, мало чем отличаясь от обыкновенных монахов, бродивших повсеместно в поисках милостыни. Всеми отвергнутый, он старался скрывать свое имя и свое прежнее положение в государстве.

Примостившись на полатах, он громко и тяжело вздохнул:

– Что есть жизнь? Господи! Превратность!.. И чего люди пришлые ищут в нашем граде? Текут и текут изо всех уездов... И откуда и зачем – господь ведает!

– Буде! Не тоскуй! – оборвал его парень в волчьем треухе. – Тебе одному, што ль, в Москве жить? Ишь ты!

Из-за спины Игнатия выглянул пришедший с ним вместе кремлёвский приживальщик – скоморох Халдей. Лицо его, вымазанное красками, не смутило парня:

– Ты чего?!

– Бог в помощь, дерзай! – улыбнулся скоморох. – Люблю таких, непонятных.

– Умой харю!.. Зачем намазал?

– Больно уж ты гневен. Откуда? С каких мест такой кусака?

– Отсель не видать, дальний человек, а зовусь Гаврилкой... Слыхал ли? Воеводе не брат и тебе не сват.

В углу захихикали. Плошка с маслом на столе чадила, угасая. Колебал пламя сквозь щели декабрьский ветер. Обледенелое строение содрогалось от его порывов. Недели две назад польское начальство запретило подвозить к Москве дрова. Холодом пыталось оно вытеснить жителей, но люди стали настойчивы, не сдвинулись с места.

Игнатий хотел что-то сказать, но раздумал. Черные глаза его смотрели умно, смущали людей.

– Эх, братцы! – усмехнулся Гаврилка. – Легше железо варить, нежели с дворянами да с попами жить!

– Молод судить. Молод! – тихо, сказал Игнатий. – Горя ты еще не видел настоящего... Несогласие твое от молодости. Жалко мне тебя. Темен ты. В попах – вся сила, у них – согласие и свет разума...

– Врешь, батька! Откуда же у черных людей единомыслие?! А?! – вступился в разговор молодой странник, лежавший на полу.

– От нужды! – ответили разом несколько человек.

– Одних смоленских разоренцев тыщи... Чем будут жить?! Куда денутся? Где найдут пристанище?

– Бегут?!

– Кто на Волгу, кто на Дон... а больше на Рязань... да туда, к Нижнему. На своей земле – везде дом.

Скоморох слез с печки. Игнатий задумался.

В углу на скамью рядышком втиснулись Гаврилка, странник и скоморох.

– Старче Игнатий, друг! В высоких чинах ты находился... бывал и в Турции и в Литве, а познавать горя человеческого не можешь... – сказал скоморох.

– Я што! – вспыхнул Игнатий. – Смиранный инок, выпущенный на сутки из заточения, страдалец! Сам знаешь, господь простит меня, несчастного! Зря лезешь!

– Полно! Чего притворяешься? Меня нечего бояться, – не унимался скоморох. – Кабы не такое дело у тебя вышло, ты плюнуть бы на нас и то счел бы недостойным для себя. Хороши

вы, когда в беду попадаете, вежливые, а то и нос кверху... Глядеть на нас не хотите... Знаем мы ваше смирение!

– Не болтай, Халдей, – на всяк час не спасешься, разные люди тут есть, – вздохнул инок, свесившись с полатей и пристально разглядывая присутствующих. И заметил, что парень в треухе с кем-то перемигивается.

– А ты не таись, парень! Кто ты и откуда? – пытливо спросил он Гаврилку. – Нас не бойся... Одинакие все, убогие.

Парень усмехнулся:

– Кто я?! Селуян Селуянов, не трезвый, не пьяный, тебе не товарищ, по имени Черт Иваныч. Кислая шерсть, такая же, как и все прочие зимолеты.

– Издалеча ли? – вытянувшись на полатах, еще вкрадчивее спросил Игнатий.

– Говорю, отсюда не видать... Лесом загорожено.

– Ну, а ты? – кивнул инок другому парню, высокому, красивому страннику с медным крестом на груди.

– Волгарь я... Рабов не имею... Ветра в поле ищущу... Вот и все тут. Сам на себя дивуюсь – чем жив?! Ей-богу!

Из-под тряпья, из углов, с любопытством потянулись глазастые ночлежники. Голос волгаря звучал смело:

– Да оно так-то и лучше! Сколь рабов, столь и врагов. Многие бояре посему в королевский стан и переметнулись. Боятся своих же. Земля под ними шевелится. Болотников везде чудится! Вот человек-то был! Всех богатеев запугал.

– Нас прикрепили, а сами с нее бегут? – отозвался на его слова кто-то с усмешкой.

– Не плачь! Король Жигимонд новых наделает! Без бар не будем. А бегать все одно будем, – усмехнулся Гаврилка.

– Чего уж тут! Нашего брата хоть маслом мажь, все одно будет дегтем пахнуть, – добавил волгарь и, хлопнув кулаком по столу, загорячился: – Ужо им! Поревут еще! По всей земле обида и злоба. Даром-то не пройдет! Теперь бы батюшку царя Ивана Васильевича – он бы живо измену вывел... Правильный был, царство ему небесное.

– Гляди, братцы! Сразу видать нездешнего! Храбрые речи давно не слыхивали. От лютой насильственной смерти люди ошалели, оставляют дома свои, со страха скрываются в чащах древних. Страх везде! Молитесь, чада мои, молитесь!

Игнатий широко перекрестился.

За ним и другие, кроме Халдея.

– А боярам что? – продолжал он. – Ведут они сидячую жизнь, тучнеют от нее жестоко и приобретают тем себе уважение... (Инок явно стал подлаживаться под общий разговор.)

Лицо волгаря было молодое, румяное. Сам – сложения плотного, высок ростом, под стать Гаврилке.

– Не пора ли, братцы, и соснуть? – сказал он, громко зевая. – Утро вечера мудреней... Право! Всего не переговоришь! Да и не всё то говорится, что думается.

– Отвыкли мы, молодец, спать-то... Опасаемся... Яко пагубные волки, вкрались враги в ограду Москвы. Житья от них нет. Мне бы теперь патриархом быть, а я в заточении сижу... Вырвался сегодня, погулял, а наутро опять в Чудов монастырь, в застенъ... – еще смелее заговорил Игнатий.

– Не бойсь! Москва землю переживет! – укладываясь на скамью, бойко откликнулся волгарь, а через несколько минут захрапел на всю избу. Его примеру последовали и другие, в том числе и скоморох с Гаврилкой.

Когда хозяин притона, худой, высокий, одноглазый человек, убедился, что все спят, подошел к инок. Вытянувшись к полатам, прошептал:

– Чудной какой-то! Люди с Москвы текут кто куда, а он в Москву... Да еще с Волги! Там ли им не раздолье?! А тут и схорониться-то негде.

Игнатий в великом оживлении свесил голову:

– Хитрит дядя! Я их сразу понял. Их двое. Давеча видел я обоих на Яузе. Нас не обманешь. Оба пришлые. А зачем? Неизвестно.

– Куда же тот?

– Господь ведаёт... На глазах исчез.

– Донесешь? – спросил шепотом хозяин притона. Инок задумался.

– Н-ну!

– Не знаю. О господи! Помилуй нас, грешных! Да что ты ко мне лезешь? Что я, доносчик, что ли?! Не обижай меня!

Одноглазый немного погодя прошептал:

– Вторую ночь этот ночует... волгарь-то!

– Врешь! – всполошился инок. – Что ж ты молчал?

– Докащику первая чарка и первая палка! Боюсь.

– Малодушный.

Далее разговор не вязался.

Плошка угасла. Во всех углах храпели люди, кашляли, сморкались, а на дворе ревел ледяной вихрь, пронизывая дырявую ночлежку.

Напрасно думали инок и хозяин притона, что волгарь уснул. Ради того раньше всех и улегся он, чтобы подслушивать.

И вот, убедившись, что все спят, он разбудил Гаврилку:

– Утекай, дружище!.. Беда! Иуды здесь!

Волгарь назвал себя Родионом Мосеевым.

– Слушай меня... Пойдем!.. Поп и харчевник – доносчики.

Оба тихо поднялись, затаились кушаками и неслышно вылезли из лачуги.

Чуть с ног не свалила вьюга. Куда идти? Кругом тьма и глушь. Липнет снег, застилает глаза. Ничего не видать. Словно бы и не Москва, а какой-нибудь поселок в дремучем бору. Ни одного огонька, а дороги все занесены снегом.

Охнула сторожевая пушка. Видимо, на кремлевском гребне. Паны хотя и овладели Москвою и засели в ее сердце как правители, а все же по ночам не спится им. Не легко в чужой клетки молебен служить.

Мосеев и Гаврилка решили ночевать в часовне на ближнем монастырском погосте... «Мертвецы не опасны, – горько усмехнулся Родион, – предавать не будут. Не первый раз мне приходится быть в Москве! Не первый раз хорониться от лихих людей. Путь с Нижнего Новгорода на Москву пять сотен верст, но как мне, Родиону Мосееву, так и моему товарищу, Роману Пахомову, то не в тягость. Безотказно ходим во все времена, повинуюсь воле земского схода».

– Стало быть, с Нижнего?

– Да.

– Я из Смоленска...

Мосеев стал расспрашивать об осаде Смоленска. Не сразу они поведали друг другу о себе всю правду, без утайки, но, уверившись один в другом, наговориться вдоволь не могли. Гаврилка узнал, что Мосеев – нижегородский гонец, наподобие его, Гаврилки, и то, что он не один, а есть у него товарищ, который этой же ночью должен побывать у патриарха Гермогена, в Кремле. Народ в Нижнем хотя и не в осаде, а волнуется, хочет знать всю истину: что происходит в матушке-Москве и окрест ее? Родион рассказал о воеводе нижегородском Репнине, о его помощнике Алябьеве, а больше всего о своем близком друге – Кузьме Минине. Человек отважный и умный, добровольно забросил свою мясную лавку и воюет ныне под началом Алябьева с ворами на Верхней Волге.

Гаврилка, с великим вниманием прослушав Родиона, сказал:

– Там, под Смоленском, в лагере послов тоже есть один ваш, нижегородец... стрелец Буянов. Ночевал я в его шатре.

Мосеев крепко схватил парня за руку:

– Как? Он под Смоленском?!

– Там, там. Виделся я с ним и калякал... Жалеет он, что из Нижнего уехал в Москву... Все из-за князя Голицына Василия Васильевича... Нигде не покидает он его... И под Смоленск ушел с ним добровольно.

Мосеев был очень обрадован, когда узнал, что стрелецкий сотник Буянов в скором времени опять будет в Москве, хочет взять свою дочь Наталью и снова вернуться к себе в Балахну, под Нижний.

– Поминал он и князя Пожарского.

– Да как же ему и не поминать князя, коль скоро он из его вотчины родом! Мугреевский. С малых лет знает князя. Вместе выросли... земляки.

– А о Кузьме Минине так-таки и не поминал? Дружки ведь они с Буяновым старинные.

– Не припомню. Может, и поминал. Да вот скоро сам увидишься с ним, приедет. Князь его посылает к брату, что ль, не знаю... К Андрею Васильевичу...

– Стало быть, Наталья одна?

– В монастыре пока. Поселил ее отец у какой-то игуменьи. Не ходи! И дом у них заколочен. Знаешь ли, где живет-то?

– Ну, вот еще... Всякий нижегородец знает. Да я и не о себе... Мой товарищ, Пахомов, тоскует о ней... о Наталье. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить-то... А мы было хотели к нему... Прошлись бы зря.

Родион дал слово Гаврилке всё, без утайки, доложить в Нижнем о бедствиях Смоленска и о послахе, о том, как король мучает их холодом и голодом и как бесчестит их, достойных московских людей.

Гаврилка держался деловито:

– Сам я скоро уйду в Рязань... Москва теперь знает, что смоленские сидельцы живыми не сдадутся и что надо скорее ополчаться. От Шеина послание у меня к Ляпунову.

На погосте в каменной полуразрушенной усыпальнице каких-то бояр Гаврилка и Родион расположились на ночлег.

* * *

Утром Игнатий по дороге в Кремль уныло бубнил:

– Проспали мы! Упустили воров! Взять бы нам их под пристава. Спасибо сказали бы нам паны. Гляди, и мне помогли бы уйти из заточенья...

– С панами как себя ни поведешь, а ото лжи не уйдешь. Не первый раз. Молчи – да и только!

– Но им будет доподлинно известно... да и одноглазый может набрехать: прикрывают, мол, воров!

– Подавись молитвой! Не стращай. Твое ли это дело? Испортило тебя бесславие. Нешто таким ты был раньше?..

Скоморох строго посмотрел на Игнатия:

– Из колокольных дворян да в подворотню лезешь! Стыдись! Будь патриархом. Я и один обойдусь... Чего ты за мной, за скоморохом, бродишь? Испили водицы голубицы – и в разные стороны! Чего тут?!

– А ты не лай! Без тебя собак много.

– А ты не выслуживайся, и без того в люди выйдешь! При Шуйском не пропал, а при панах и вовсе... Предсказываю: быть тебе опять патриархом!

Игнатий повеселел, смягчился:

– Подай, господи! Озолочу! Не забуду. Тяжко сидеть мне в Чудовом! Еще того тяжелее – унижаться. Буду патриархом, попомню тебя. Мне все одно – кому ни служить.

Халдей усмехнулся:

– Поп да петух не евши поют.

– Истинный бог! Не забуду. Верь!

– Там что будет, а о волгаре и смоленском парне ни гу-гу! Не видали – да и только. Нешто уследишь за всеми? Сарынь¹⁰ всякая по ночам шляется. Чернь хлопотлива, что муравьи, ежели кучу их вспорешь.

– Хулу бы нам с тобою не нажать, вот что! Языки¹¹ Гонсевского тоже ведь бегают! Не проследили бы. В нерадивости могут обвинить...

– Ты опять?!

– Молчу.

¹⁰ Сброд, бродяги.

¹¹ Язык – оговорщик, соглядатай.

VI

С трех сторон: через Фроловские (Спасские), Константино-Еленские и Троицкие ворота, ночью в Кремль въезжали нагруженные продовольствием сани.

Польский гарнизон давно поджидал этот обоз. Туговато становилось с продовольствием. Крестьяне прятали хлеб и скот от польских разъездов. Нередко, спасая свои запасы, они умышленно заводили заблудившихся гусаров в дремучие леса, в сторону от деревень, и погибали там под ударами польских сабель. Пошел слух, что мужики, прознав о неудачах короля под Смоленском, надеются на скорое падение королевской власти в Москве.

В деревнях наотрез отказались признать королевича Владислава царем. Проклинали его, отплевывались...

Появление обоза было ознаменовано пушечным выстрелом с Царской (Набатной) башни над площадью, прозванной в народе за случавшиеся здесь частые зажигания – Пожар¹².

Тихо поскрипывали полозьями набитые хлебом, мясными тушами и иною провизией розвальни, окруженные сабельным конвоем.

Возчики в вывернутых мехом наружу полушубках робко поглядывали кругом из-под нахлобученных на лоб малахаев, вздыхали.

Грозным чудовищем выдвинулась из мрака пушка-великан Дробовик¹³. Кони шарахались в сторону. Где-то в темноте играла музыка. Желтели огоньки в домах.

Обоз пересек Ивановскую соборную площадь и въехал во внутренний двор Кормового приказа. На площади исстари составлялись подьячими челобитные, купчие и оброчные памяти, подряды и служилые кабалы. Свидетельствовались они тут же, этими же подьячими-послухами.

К обозу с факелами прискакали интенданты, перекликаясь возбужденно. Высыпали с фонарями в руках приемщики. Они срывали рогожи, прощупывали мешки, боясь скрытых согладатаев-москвитян.

Но недосмотрели! В одном из возов притаился нижегородский гонец Роман Пахомов. Выждав, когда паны отправились к амбарам, Пахомов незаметно вылез из своего убежища, затерялся в толпе возчиков.

После ухода панов мужики почувствовали себя свободнее.

– Ну, брат, жив ли? – тихо спросил Пахомова возчик-ярославец.

– Жив-то жив, да помяло малость и обморозился... – трясаясь от стужи, ответил Роман.

Возчик забарабанил по его спине:

– В кабачок бы теперь!

– Земское дело у меня... Боже упаси! Чуешь?

– Эй, тише, вы, лебеди! – метнулся испуганный голос. – Коршун летит!

Звеня саблей, пробежал польский офицер.

Но легко ли молчать съехавшимся из разных мест людям в такое время, когда все деревни и села разъединены бродячими шайками?! Слухи разные ходили по деревням. А что и как – тайна. Трудно понять, какая власть, кто управляет? Одно каждому ясно: Москва попала в королевскую кабалу. Разбитной молодой парень шептал товарищам:

– Монах тут подвернулся... Сами бояре, – говорит, – Мстиславский да Федька Шереметев, да Михайла Салтыков – ворота в Кремль их войску открывали. Собралась толпа, стала перечить, а бояре приказали ее разогнать... «Срамите, мол, нас перед иноземцами!» Что ты

¹² С середины XVII в. главная площадь Китай-города Москвы станет величаться Красной.

¹³ Отлита при Федоре Иоанновиче в 1586 г. литейщиком Андреем Чоховым. Впоследствии получила название Царь-пушка.

будешь делать?! Пан Гонсевский правит. Семь правителей-бояр в дураках остались! Вон, глядите на хоромы, кои в огнях... Слышите, – дудки! Ликуют! Справляют победу!

Из темноты вынырнул чернец, подкрался к возчикам:

– Погибаем! – Тут он помянул о патриархе Гермогене. – Теснят и его.

Пахомов встрепелся:

– Мне к нему и надо, под благословенье бы!

Чернец дернул его за руку, изогнулся:

– Следуй!.. Провожу!

– Так ли? Не предашь?

Монах поклялся:

– Голову отсеки!.. Тайный слуга я патриарха... Не диво, коли и самого на кол посадят...

Всё возможно.

– Веди!

Монах и нижегородский человек исчезли во мраке.

К патриаршему дому кралась по сугробам меж тынов и каменных оград боярских усадеб и подворий, к Чудову монастырю...

Услыхав чьи-то голоса, монах и Пахомов притаились: люди с фонарями! Звяканье ключей. Около больших тесовых ворот караульные.

– Сытенный двор... Ключари-приказчики по отпускным записям принимали хлеб и коровье масло, мясо и иную снедь. Запасаются впрок...

Пахомов слушал с любопытством. Обо всем этом надо рассказать в Нижнем. Вот-вот сейчас увидит он «царствующего града Москвы и великого русского царства патриарха Гермогена», о котором столько чудесных рассказов ходит по земле.

– Из патриаршего дворца преподобного удалили... Живет просто.

Монах вспоминал о тех почестях, какими окружал патриарха царь Шуйский, и, сравнивая те времена с нынешними, вздыхал, плакался:

– Теперь уж не то. Римские ехидны нами правят... Патриарх не нужен. Римский папа – хозяин...

Умолк он, когда подошли к длинному бревенчатому дому с подслеповатыми слюдяными оконцами. Широкое с кубоватыми столбами-опорами трехмаршевое крыльцо. Еле-еле брезжит в оконницах свет.

– Молви молитву!.. Очистись! – приказал монах.

Шмыгнули во двор. Отбивались от собак – Пахомов ногами, а монах, ругаясь, посохом.

– Эй, кто там?! Стой! – грубо окликнули с крыльца.

– Свои, отец Самуил, свои... Милентий!..

На лестницу черного хода, держа фонарь в одной руке, вышел здорового роста монах. В другой руке у него сверкнула алебарда. Он быстро шагнул к Пахомову и поднес фонарь к самому его лицу.

– Нижегородский гонец. Земским сходом послан! – сказал Пахомов.

– Сполна ли правда?!

– Тако, батюшка, сполна... При мне из воза вылез... Прятался от стражи.

Монах шепнул Пахомову:

– То дьяк Самуил Облезлов. Ближний служка святителю.

Допрос тянулся долго. Наконец Облезлов сказал:

– Так, оправься!.. Пойду доложу.

Дьяк исчез.

Через некоторое время медленно открылась дверь, и в горнице появился среднего роста, тощий, древний старичок в белой рясе.

Роман пал ниц.

– Святейший господин наш отпускает ныне убо прегрешения... – пробасил дяк.

– Господь бог, вседержитель... – еле слышно начал Гермоген читать длинную непонятную молитву.

Пахомов подошел к патриаршей руке, принял благословение. Его примеру последовал и монах.

Гермоген положил сухие, пахнувшие маслом руки на голову Пахомову. Едва слышно произнес:

– Скажи там... Бояре пали духом и многие изменили. Срамною стала жизнь. Разврат, ложь, убийства и корысть кругом... На кого будем взирать? Кому служить? Кто направит силы наши? Господу богу угодно всю власть возложить на меня. Московское государство искони сильно верою и послушанием. Соотечественники связаны единою церковью. Несть наибольшего греха, нежели уклонение от священнопочитания... Крепки ли верою нижегородцы? Не поддались ли вы соблазну?

Патриарх насторожился. Оперся рукой о стену. К нему подскочил дяк-великан и подержал его.

– Крепки ли? Отвечай, добрый человек! – глухо повторил Гермоген, тяжело дыша.

– Крепки! – бодро ответил Пахомов.

– Много ль возможет дать нижегородский воевода?

– Правды ради – все пойдем.

– А много ль оружия и зелья у вас? Надежно ль будет войско?

– Пять кузниц новых... куем лезвия немало.

– Копием могуч не будешь. Огненная защита сильнее. Взгляни на зловерных. Меж зубьев пасти чугуны на стенах. Наберитесь и вы силы! Чую! Поднимутся православные и изгонят поганых прочь.

Холодные дрожащие руки Гермогена ощупали голову Романа.

– Восстаньте и вы на злохищных! Поднявшие меч – от меча и погибнут! Вещественное вещественным же и погашается... Благословляю и вас на ратное дело. Иссякло озеро нашего христианского смирения!.. Меч и брань – защита правды. Прольем кровь неверных! Прочь польских царей! Изберем своего, россиянина, на царский престол... Имеем и честных бояр и князей, им православные христиане и вручат власть над собою! Передай в Нижнем: разрешаю всех от присяги королевичу!.. Ныне вы ему не рабы!

Голос Гермогена, по мере того как он говорил, становился громче и громче.

Закончил он, крепко уцепившись за ворот полушубка Пахомова:

– Иди! Опасайся соглядатаев!

Патриарх рывком благословил Пахомова, охая и кряхтя, повернулся и, опираясь на посох, ушел к себе в келью.

Патриарший дяк провел Романа через разрушенный сарай на одну из кремлевских улиц.

Патриарх у себя в келье объявил скрывавшимся у него двум рязанским посланцам, чтобы вписали в ополчение и нижегородцев.

Один из рязанских гостей перечислил Гермогену градские полки с начальниками.

Патриарх, приложив ладонь к уху, с довольной улыбкой слушал.

– Города рязанские и сиверские пойдут с Ляпуновым. Муром – с князем Масальским, Владимир и Суздаль – с Просовецким. У них волжские казаки и черкасы¹⁴, отложившиеся от Пскова.

– А Вологда под кем? – с нетерпением перебил патриарх.

– Вологда?! С Федором Нащокиным...

– Ярославль?!

¹⁴ Черкасы – украинцы.

– Ярославцы никогда не расстанутся с Иваном Ивановичем! Водой их не разольешь...

– Волынский – достойный человек... Да будет благословение господне над ним.

– На той неделе к нему пристал стрелецкий голова Иван Толстой... Пятьсот всадников.

Гермоген весело улыбнулся:

– В ямах Андроньева монастыря по моему приказу зелье зарыли... У панов в погребке вчерашней ночью монахи тайно стяжали. Побывай там. Разведай.

– Добро! Благодарствуем!..

– Монахов несть числа забирайте... Благословляю! Тунеядствуют по монастырям... Наказываю: брать их в ополчение!..

– Кострома... – продолжал рязанец, – пойдет с князем Волконским.

– Надежен ли? – нахмурившись, спросил Гермоген. – Не лучше ль возвести другого знатного дворянина, который в шатости не был замечен... Волконский не мил мне. Он холопьям поблажку дает... бунту пособляет...

– Стрелецкий голова наш... будет следить за князем...

Всю ночь Гермоген и двое посланцев рязанского воеводы Прокопия Ляпунова проговорили о дворянских ополченческих делах. Всю ночь обдумывали они с патриархом, как бы покрепче ударить по врагам.

* * *

На следующий день в малые сени патриаршего дома с посохом в руке, весь черный, костлявый, вошел гробовой старец¹⁵ Чудова монастыря Гедеон. В последние месяцы и он потерял покой. Бывало, целые дни лежит в гробу и только за нуждой поднимается, а ныне постоянно в патриарших покоях. Патриарх полюбил старца Гедеона. Ежедневно за трапезой оба они выпивали по кубку церковного вина и по одному кубку меда вишневого, съедали блюдо карасей, пирог «с телесами щучьими» и блюдо ягодников. За едой вели беседу о панах, об иезуитах, о монастырях, а больше о том, кто после Смуты сядет на престол: Голицын или Романов? Гедеон уверял, что ему ночью явилось видение вроде ангела и начертало на стене: «Василий», а это – знамение. Престол обязательно получит Голицын. Патриарху понравилось Гедеоново видение. Ему вообще были по душе все, кто против прониры Филарета Романова и кто был на стороне Голицыных. Но никогда он не высказывал этого вслух, боясь сильной романовской партии и властолюбивой, вздорной матери Михаила Романова, инокини Марфы, жившей с сыном тут же, в Кремле, и пользовавшейся вниманием панов...

Вот и Ляпунов! Он пришелся по душе патриарху.

Ляпунов стоит за Голицына. Выгонит он проклятых панов, и тогда... Гермоген знал, что будет тогда! Желал этого. Впрочем, на людях он не прочь был называть в числе будущих царей и Романова, но втайне лелеял мысль: выгнать панов из русской земли, а там... вся церковь поднимется за Голицына. Патриарх понемногу уже подготавливал дальних епископов. Всеми чтимый гробовой старец, святой отшельник Гедеон, помогал ему, насколько хватало сил.

Кроме Гедеона, в келье находилась еще монахиня, бывшая в миру княгиней Куракиной. С юных лет Гермоген был ее другом. Прошли года. Оба состарились, дружба стала чище, яснее.

– Гневного пламени во мне никому не угасить! – говорил патриарх сердито.

Старица набожно крестилась:

– Настанет час, и возвеселятся праведницы!..

– Да будет так! – шлепнул сухой ладонью по столу Гермоген. – Король всполошился не зря.

¹⁵ Гробовой старец – схимонах. Схимонахи обыкновенно спали в гробу, пищею их были хлеб и вода. Схима – самый строгий вид монастырского затворничества.

– У, ненасытный, кровожелатель! Так бы я его и растерзала! – вспылила старица.

– Железом... огнем... силою воинской единственно можно поразить его... Донской казак и сам я... Знаю... Отец еще тому учил. Симонов монастырь с моего благословения всю казну отдал на огненный бой.

Разговор о войне и о пушках заинтересовал и гробового старца.

– Сею ночь мне представилось видение: якобы на Пожар-площади некий юноша сотворил пушку, и огнем своим она в единую ночь сожгла всё вражеское царство со всеми людьми и с самим Жигимондом... и со всеми конями...

Гермоген и старица оглянулись на Гедона удивленно.

– Может ли человек сим даром Божиим обладать?

Не есть ли подобное величие – принадлежность единого господа бога?.. В пламени огней гибли города и царства, но единственно токмо по воле господней. Так сказано и в писании. Видение твое ложно. Греховно. Покайся!

Гробовой старец усердно почесал под бородой, вздохнув:

– Прощения прошу, коли соврал!

Наивность Гедона всегда покоряла патриарха. Он улыбнулся:

– И ложь бывает во спасение. Бог простит.

Патриарх рассказал своим друзьям о рязанском ополчении, собирающемся против поляков, о том, что у него были дворяне, посланные из Рязани от Прокопия Петровича, а также были знатные люди из Ярославля и Вологды, а сегодня посетил его и нижегородский ходок.

Слушая патриарха, непрерывно крестился Гедон, крестилась и инокиня Куракина.

Все трое сползли со скамьи на колена, молясь об уничтожении врагов и о восхождении на престол Василия Голицына. Затем гробовой старец шепотом рассказал Гермогену, что лишенный при Шуйском патриаршего сана Игнатий нередко по ночам уходит из своего заточения, с ведома самого начальника тайных дел пана Пекарского. Гермоген нахмурился: «Корыстолюбец! – тихо произнес он. – Такой будет люб и в разбойничьем вертепе!»

VII

Халдей принес на спине мешок муки. Вчера по приказу Гонсевского веселил он польско-литовских людей на Ивановской площади в Кремле, за это и наградили.

– Окаянного потешаю, – сердито сказал скоморох, смывая с лица краску.

После того как он сбросил с себя шутовской балахон, на жилистой шее его и на сухой спине стали видны синие рубцы и кровоподтеки.

Нижегородцы, которых он сегодня встретил на улице и привел с собой, в страхе переглянулись.

– Вот глядите, дары за верную службу... Когда паны довольны мной, они стегают меня кнутом и сабельными ножнами. Когда не угождаю – тоже.

Он горько рассмеялся.

– Чего же ты? Нешто весело?!

Халдей ответил:

– Чудится мне, что кони – и те ржут, глядя на скоморохов. Пан Доморацкий хлестнул меня плетью, а я запел петухом и стал скакать на одной ноге... Лошади оскалили зубы. Вы небось тоже... А?! Ну-ка!

Скоморох вскинул правую ногу до самого плеча, запел петухом и на левой ноге ловко обскакал всю горницу.

Мосеев и Пахомов фыркнули.

Халдей некоторое время с грустью смотрел на них.

– Вот видите!..

Он гневно нахмурился:

– И все так! Поймите хоть вы, что пирую я, не участвуя в пирушке... Не смейтесь надо мной...

Мосеев и Пахомов покраснели от стыда.

Халдей надел синюю рубаху и серые полотняные штаны и снова стал простым и приветливым. Он развел очаг и напек блинов для гостей.

Во время еды Халдей поведал о том, что происходит в стенах Кремля. У панов тоже не всё благополучно. Жолнеры стали роптать: надоело сидеть в Кремле. Были драки между ними и драгунами. Кое-кто сбежал из Кремля, унеся с собой оружие. Гонсевский не дает отдыха скоморохам. Пытается пляской, кривлянием и разными «бесовскими ухищрениями» развеселить своих воинов. Не раз собирал он войско, укорял его в слабости, уговаривал не падать духом, угрожал отсекать руки дезертирам. Из-под Смоленска, говорил Гонсевский, прибудет сам король со всем своим войском. Москва-де дорого заплатит за свое упрямство и неуважение к панам. Пожива будет немалая.

Жолнерам больше всего хотелось этого.

Жалованье в польском лагере не особенно ценилось: привлекала воровская добыча! Ради нее-то и в Москву забрели.

Родион и Роман сказали, что им хотелось бы знать о силе польского гарнизона, о вооружении пехоты, конников, командиров. Халдей шепнул, в какой башне и сколько пушек. За это нижегородцы низко ему поклонились.

Халдей обещал Родиону и Роману и впредь рассказывать о том, что делается в Кремле. В свою очередь нижегородцы сообщили Халдею, что смоленский гонец Гаврилка Ортемьев пошел в Рязань с посланием боярина Шеина к Ляпунову, что везде готовятся к походу на Москву.

Перед вечером нижегородцы по-братски распрощались с Халдеем и отправились в Стрелецкую слободу. От него же узнали они, что из-под Смоленска прискакал в Москву их земляк, сотник Буянов.

Идти приходилось с опаской. Вдоль каменных стен Белого города¹⁶ от башни до башни медленно разгуливали польские часовые, зорко вглядываясь в каждого путника. Надо было воровски прокрадываться, хоронясь за домами и амбарами, чтобы случайно не попасть в руки пана Пекарского.

Дом стрельца Буянова нашли. Убедившись, что никого из соглядатаев кругом нет, вошли во двор.

– Добро, добро, жалуйте, друзья! – приветливо крикнул Буянов с крыльца.

Нижегородцы рассказали ему, зачем пришли. Стрелец спросил, благополучно ли в Нижнем? Что делает Кузьма Минин?

Роман Пахомов подмигнул Буянову:

– Кузьма Минин теперь у нас чуть ли не воевода... У Алябьева первый человек... Нижний охраняет. Воюет с ворами.

– А Татьяна Семеновна?.. Она ведь с норовом. Как она его отпустила?

– Ушел – и всё! И торговлю бросил. На всё махнул рукой.

Расположились в просторной, хорошо убранной горнице.

Посреди – дубовый стол, покрытый узорчатой скатертью; по стенам длинные, тоже дубовые, скамьи. Горница освещена двумя сальными свечами в железных подсвечниках.

Буянов рассказал про Смоленск.

– А тут что нашел я?! – продолжал стрелец. – Пан Гонсевский в бояре попал и стрелецким головою назначен, заставляют самозваному боярину служить!

Но есть и защитник у нас... – робко заметил Пахомов.

– Кто?

– Патриарх Гермоген. Был я у него, беседовал с ним.

Буянов насупился. Седые пучки бровей сдвинулись.

– Гермоген!.. – повторил он. Потом вдруг усмехнулся: – И у бабушки Власия борода в масле.

Пахомов рассказал о своем посещении Гермогена.

Буянов терпеливо выслушал и, заложив руки за спину, принялся шагать из угла в угол. Наступило тягостное молчание. Нижегородцы окончательно смутились.

– Да! – вдруг остановившись против них, угрюмо проговорил он. – Гермоген прокликает Гонсевского, но не он ли в августе привел к присяге королевичу всю Москву? Не он ли велел попам богу о нем молиться?! А до этого не он ли кривил душой и перед Лжедмитрием? Пора, пора ему опомниться!.. Немало нагрешил дед!

Усевшись опять за стол, Буянов махнул рукой:

– Бог ему судья! Не он один. Борьба за престол многим помутила ум. Спасибо, что хоть он Василия Васильевича поддерживает!

Буянов вздохнул. На лице у него было такое выражение, как будто ему давно уже надоели все эти разговоры.

Пахомов не стерпел; подергивая свою жиденькую бороденку, вкрадчиво спросил:

– Против кого же патриарх?

Без колебания ответил стрелец:

– Против панов! Они и его обманули, как и бояр. Нам, братцы, всё известно, кто о чем хлопочет. Много найдется охотников до престола. Кое-кто головы бреет наподобие панов, бороды режет, усы растит, яко у котов, надеясь бесчестною саблею добыть себе власть... Сты-

¹⁶ Белый город – часть Москвы.

даться стали бороды, склонны походить на панов... А одежда? Не поймешь: воротник ли пришит к кафтану, кафтан ли к воротнику... Фордыгалы напяливают на себя гишпанские... Срамота!.. И всё из-за выгоды. С кого же нам брать пример?! Ужели с них?

Вдруг Буянов спохватился:

– Ах, да что же это я! Эй! Наталья! Поди-ка сюда!

Пахомов сначала побледнел, потом зарумянился.

Из соседней горницы вышла статная девушка, одетая в летник с золочеными каемками и пуговками. Низко поклонилась гостям и вся вспыхнула, с любопытством осмотрев их украдкой исподлобья.

Гордою походкой, открытым добрым взглядом и какою-то суровою печалью в глазах она походила на отца.

– Ну-ка, потчуй земляков! А вы уж, друзья, не обессудьте! Времецко таково... Из щеп похлебки не сварить.

Пахомов не сводил глаз с Натальи. Она – его друг детства. Вместе бегали по нижегородским горам и на Волгу, вместе гуляли в полях, собирали цветы...

– Лучше жить беднячки, чем полячки... – вдруг сказал он каким-то охрипшим голосом.

Мосеев покраснел за товарища, неодобрительно покосился в его сторону: «Помолчал бы!» На тонких розовых губах Натальи скользнула чуть заметная улыбка.

Буянов продолжал:

– Стрельцам жалованья не платят. Хлеба не дают. Около монастырей питаемся. Игуменья Параскева из Ивановского монастыря, что в Белом городе, – спасибо ей – меня спасает. Придется, видать, и Наталью туда же спровадить. Всё сыта будет. Стар я. Вдов. На кого ее оставить? А там всё на людях. Помогут.

Девушка накрыла стол расшитую красными узорами скатертью, подала гречневую кашу, каравай хлеба, рыжики холодные и горячие и опять ушла к себе.

– Брагой не угощаю... Паны пьют за наше здоровье. Винные погреба знатно пообчистили. А там вино-то было. Господи! Сам Иван Васильевич¹⁷ берег, не пил.

Пахомов облизнулся (с удовольствием бы выпил за Натальино здоровье!), Мосеев толкнул его коленкой под столом, нахмурился.

– И чего только господь бог такое беззаконие терпит? – Роман внезапно почувствовал потребность поболтать.

Буянов пожал плечами:

– У Гермогена бы надо спросить! А вы... вот что... Живите-ка у меня, – ласково произнес он, следя за тем, с какою жадностью нижегородцы принялись за еду. – Места всем хватит... У меня дом просторный.

После ужина легли спать. Буянов и дочь ушли в другую половину дома.

Пахомову не спалось. Он толкнул Родиона в бок и спросил:

– Видел?

– Видел.

– Что мыслишь?

– Удобрена и глазаста... и волосы черны.

– Эх, и зачем только люди воюют? – в голосе Пахомова слышалась грусть. – Чего им не хватает?

– Ладно. Спи.

Пахомов, успокоившись, быстро уснул. Мосеев перекрестил его, прошепав:

– Охрани тя господь от приобщения к делам неплодным тьмы... Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!

¹⁷ Иван IV (Грозный).

Боялся он за товарища. Слаб был Роман сердцем, скучлив о женщинах. Мосеев опасался – не помешала бы какая-нибудь из них делу. Где ему разобраться в московских женках и девушках! Многие из них подражают Маринке Мнишек и ничего не желают, лишь бы добиться власти и богатства. «Прости его, господи! Еще молод, образумится! Помоги ему, боже, одолеть дьявола!»

* * *

На другой день Буянов с Мосеевым ушли в Китай-город¹⁸ к Андрею Васильевичу Голицыну, брату великого посла. Пахомов нарочно остался дома. Наталья села за пяльцы. Окна были заморожены, да и малы, и не так уж много солнца могло проникнуть в горницу, но достаточно было и маленького луча, чтобы увидеть эту тонкую шею и милое, родное такое ее лицо. О, как была хороша Наташа в это утро! Трудно было на нее не глядеть, трудно было и подобрать подходящее слово, чтобы начать разговор, но еще труднее было сидеть около нее молча, не дать знать о своих чувствах. Вспомнились далекие-далекие дни, Волга, золотистые отмели. Пустынно, небо синее, приветливое, чайки – он с Наташей. Только они понимают шепот волн, бодрый, зовущий к счастью.

– Что же ты молчишь?

Он вздрогнул. Это ее голос! Но нет ни Волги, ни песков, ни чаек... – полутемная горница боевого стрельца. На стенах оружие, в углу копье.

– Я не умею говорить.

– Ты много видел...

– Ну, конечно, много.

И, подвинувшись поближе, он погладил ее руку. Волга, Волга, зачем ты так далека?

– Слушай, – тихо начал он:

Близ зеленая дубравушки
Протекала река быстрая,
Урывая круты бережки.
Подмывая пески желтые,
Пески желтые, сыпучие,
Унося с собой кустарники;
На одном кусту соловушко
Заунывно поет песенку:
«Негде, негде мне гнезда свивать,
Выводит малых детушек...»

Песня кончена (но кто же этому поверит?). На щеках Наташи выступил густой румянец. Это только начало. И страшно, и приятно думать о том, что будет дальше. Девушка так деловито, так нехстати хватается опять за пяльцы. Роман теперь знает, что ему говорить. Да, и он такой же, как этот злосчастный соловушко!.. Один остался он с малых лет... круглый сирота. Некому было малютку приголубить, вырос в чужих людях. Видел чужое счастье. Слышал чужой смех. Прятал свою печаль, свои слезы. Он не знает, что такое ласка, он не испытывал ничьей заботы о себе. Если он умрет, никому никакого дела не будет до него... Ему и хочется умереть... Ему и надо умереть... Зачем жить такому одинокому и несчастному?! Кто его пожалеет?

У Наташи в глазах слезинки.

¹⁸ Китай-город – часть Москвы, прилегавшая к Кремлю. Обнесена была каменной стеной.

– Я тоже сирота, – говорит она тихо и скорбно. – Ты знаешь, что и у меня рано умерла мать... Росла только с отцом, а его никогда не видишь. Постоянно в походах... Некому обо мне заботиться.

Пытка продолжается:

– И я несчастна!.. Злой человек был... (Роман насторожился.) Мне думалось... Как тяжело, когда люди обманывают...

Ты никого не обманывал?

Это совсем неожиданно!

– Обманывал?.. Да.

– Кого? – побелевшими губами спрашивает Наташа. Черные расширившиеся зрачки пытаются его.

– Кого? – хладнокровно отвечает Пахомов. – Пана Гонсевского, пана Доморацкого, кремлевскую стражу, своего нижегородского воеводу Репнина – всех обманывал... Каюсь!

Наташа облегченно вздохнула, улыбнулась, – отлегло от сердца. «Она испугалась! Она не хочет, чтобы, я...» – молниеносно мелькает в уме.

– Ах, Наташа, Наташа, почему мы раньше не встретились? Ведь скоро мне нужно опять уходить в Нижний!

Не может быть! Она не желает этого слышать.

– Отец, отец!.. Постой! Что ты? – прошептала Наташа, очутившись в объятиях Романа.

– У твоего отца большая беседа с князем Голицыным... Он не скоро придет. Князь собирает казну Ляпунову... и оружие... и...

Вот она, Волга!.. Вот она, горячая песчаная отмель!.. Солнце! Чайки!.. Песни волн! Пойте! Пойте!..

– Наташа!

– Роман!.. Милый!..

VIII

В Грановитой палате, там, где Грозный торжественно праздновал покорение Казани и где Борис Годунов в золотых креслах принимал жениха своей дочери Ксении – Гегама, брата датского короля, – пан Гонсевский приказал устроить богатое пиршество для польского командования.

Высокая и просторная, с яркою стенописью, красавица Грановитая палата слыла именинейшей палатою в Московском Кремле. Здесь цари принимали иностранных послов, здесь происходили важные государственные совещания. Теперь в ней сустились панские гайдуки, готовясь к вечернему празднеству. Они прикрепили к стенам и четырехгранной колонне посреди палаты два десятка польско-литовских хоругвей. Кремлевский правитель, пан Доморацкий, принес большой фамильный герб Гонсевского. Велел приставить лестницу к вершине бархатного балдахина, обшитого золотою бахромою и такими же кистями. Гайдуки укрепили герб Гонсевского над царским тронем. Пан Доморацкий внимательно осмотрел бахрому и кисти на балдахине и шепнул сопровождавшему его офицеру, чтобы после бала, завтра утром, срезали всё это и принесли к нему в дом.

Боярские холопы, носившие бочки вина из кремлевских погребов, с усмешкой глядели на музыкантов, которые волокли на себе барабаны и трубы в особое приготовленное для них место.

– Польский бог обращает и плач в радость! – прошептали они.

До самого позднего вечера возились паны и их гайдуки в Грановитой палате.

Вечером на Красном крыльце появились воины, одетые герольдами, в высоких сапогах с ботфортами и в шляпах с перьями, и затрубили в фанфары, созывая гостей.

Столы были убраны всевозможными яствами. Большие серебряные кувшины с вином длинною чередою тянулись среди блюд с мясом, рыбою и икрою.

Началось тостами за здоровье «его крулевского величества, господаря Сигизмунда Третьего, божиею милостию короля польского, великого князя литовского, воеводы Киевского, царя Московского и проч., и проч.». Пили много. Ели жадно всё, без разбора. Глаза панов постепенно загораются пьяным торжеством. Присутствовавшие тут же кремлевские бояре усердно пили за короля, за королевича, за королеву, за панов, не отставая от поляков. Они игриво перемигивались с панами, осушая кубок за кубком. И не пьянели.

Сам Гонсевский в серебряном парчовом кафтане сидел на царском кресле, вынесенном из-под балдахина, сухой и желтый, и пристально вглядывался в присутствующих своими маленькими узенькими глазками.

Вдруг он поднялся и, сдвинув брови, резким голосом провозгласил тост «за московское государство и господ верных слуг короля – московских бояр».

Шляхта весело зашумела. Особенно неистовствовали немецкие командиры. Взметнулись бокалы.

Мстиславский смущенно покачал кудрявой седой головой, поднялся с места.

– Бьем челом! – сказал он и низко поклонился.

То же сделали и стоявшие с ним рядом Федор Иванович Шереметев, Михайла Салтыков, князь Василий Масальский, Федор Андронов, Иван Грамотин и другие бояре и дьяки.

Паны с улыбками наблюдали за тем, как ловко кланялись широкие, грузные бородачи, чуть ли не до самого пола. Один сильно подвыпивший пан хотел было скопировать, но не сумел, вызвав только общий смех. Улыбнулся и Гонсевский, вновь опускаясь в кресло.

В короткое время слуги сменили на столе до двадцати блюд.

После застольного сидения бегавший без усталости по Грановитой палате пан Доморацкий ударил в ладоши. Грянула музыка. Начались танцы. Литовские дудки, барабаны и цыганские бубны горячили кровь пестрой полупьяной шляхты, скакавшей вокруг столов.

На скамьях, вдоль стен, чинно расположились московские бояре, дворяне и дьяки. Среди дворян – получившие от короля новые вотчины: Вельяминов, Безобразов, Плещеев и многие дьяки, заменившие недавно изгнанных из приказов старых дьяков. Новые дьяки чувствовали себя робко, с подобострастием посматривали на панов. Зато бодро держали себя торговые люди, из которых Степанка Соловецкий даже увязался в хвосте у панов плясать мазурку. Расплываясь в нетрезвых улыбках, поглаживали они свои животы. Мимо проносились нарядные шляхтичи и воздушные в своих легких платьях с пышными белоснежными жабо на шее их дамы. Федор Андронов вскакивал и начинал, приседая, прищелкивать пальцами в такт музыке. На него глядя, зашелкали и люди, чинами помладше. Смеялся он, смеялись и они. И так во всем. Еще бы! Он стал теперь королевским казначеем.

В первой паре танцующих шел сам пан Гонсевский со своей женой, высокой, стройной блондинкой, томно наклонявшей голову набок и дарившей улыбки смущенно потуплявшим взор «москвитянам».

Здесь же была и прославившаяся своей веселостью Ирина, дочь боярина Салтыкова. Она шла в паре с юным красивым шляхтичем. Он нашептывал ей что-то, а она улыбалась.

Но в это время она думала о своем возлюбленном – пане Пекарском, который в этот вечер допрашивал пойманных им рязанских гонцов.

Не всем кремлевским вельможам было одинаково весело на этом балу. Хмельной князь Мстиславский приуныл, с грустью бормоча соседу – Федору Шереметеву:

– Пропали мы с тобой, братец, пропали! Глянь-ка на Федьку Андронova! Эк-ка сволочь! Прельстился королевскими милостями.

Шереметев со слезами на глазах пьяно отвечал:

– Простись, друг, с правдою! Хозяева наши теперь они, «королевские советники».

Теперь уже было ясно, что Сигизмунд больше не желает считаться с боярским правительством. Он окружает себя новыми, преданными ему «своими» людьми. Перебежчики из тушинского лагеря у всех на глазах явно забирали власть. Большой знатю в этом круге стали Михаил Салтыков с сыном Иваном, князь Юрий Хворостинин и другие. «Пан Михаил» получил приказ Стрелецкий, «пан Хворостинин» – Пушкарский, «печатник Грамотин» – приказ Посольский, «пан князь Мещерский» – Большой приход, «пан Иван Зубарев» – Земский двор, «пан Чичерин» – думное дьячество в Поместном приказе, «пан Грязной» – Монастырский приказ, «пан князь Масальский» – Дворянский приказ, паны «Иван Иванов, сын Юрьев да Кирилл Сазонов, сын Коробейников», – дьячество в Казенном дворе, и многие другие «паны-москвитяне» получили от польских властей те или иные государственные должности в Москве и других городах.

«Седмочисленные бояре» на этом пиру в Грановитой палате чувствовали себя лишними, ибо «королевские советники» держались от них обособленно, глядели на них, родовитых бояр, свысока, с пренебрежением.

Один только Салтыков еще старался поддерживать старую дружбу.

Сигизмунд послушал купца Федора Андронova, который писал еще в августе канцлеру, что «в приказы бы потреба иных приказных людей посадить, которые бы его королевскому величеству прямили (служили верно), а не Шуйского похлебцы». Канцлер Лев Сапега прислал распоряжение Гонсевскому поступить так, как указывает Андронов, сделав его первым «королевским советником».

Мстиславский и Шереметев готовы были горько плакать.

Когда они радушно впускали Жолкевского с его войском в Москву, они мечтали спастись «от мужиков», от крестьянских бунтов, а попали вместо одной беды в другую.

«Что лучше?» – над этим вопросом теперь дни и ночи ломали голову родовитые бояре, оставшиеся не у дел. Хотя и были они окружены в Кремле прежним почетом, все же чувствовали себя теперь «пленниками Литвы», не свободными распоряжаться собой.

– Эй, князь, чего задумался?! – крикнул кто-то из танцующей толпы Мстиславскому.

У князя появилось на лице веселое выражение.

Высокородные бояре переглянулись. Мимо них проходила танцующая пара Гонсевских. На кивки жены Гонсевского бояре приподнялись со скамьи и ответили низкими поклонами. Несмотря на хмель робость проглядывала во всех их движениях.

На пиршество, сам не зная почему, был позван и стрелецкий сотник Буянов. Он стоял в толпе ратных московских людей, в дальнем углу палаты, с грустью наблюдая за происходившим.

Накануне Буянов тайно помог Андрею Васильевичу Голицыну послать с несколькими преданными ему стрельцами в Ярославль, Кострому, Вологду и иные города призывные к восстанию грамоты.

Наказ князя Василия Голицына выполнялся им в точности: он стал деятельным помощником князя Андрея в заговоре против панов. Какой-то странник уже принес на днях весть от Прокопия Ляпунова, что в марте должен выступить первый отряд рязанского ополчения под началом зарайского воеводы Дмитрия Михайловича Пожарского.

У себя дома в подвале Буянов хранил добываемые друзьями самопалы, пики и сабли.

Буянов вдруг увидел около себя пана Доморацкого, этого страшного воеводу тайных дел при Гонсевском, смотревшего теперь на Буянова веселыми, смеющимися глазами.

– О чем стрелецкий сотник задумался?

Буянов постарался быть приветливым:

– О грехе думаю, – смиренно ответил он. – Боюсь, не сатана ли нас искушает?!

И он кивнул в сторону веселящихся панов.

Доморацкий весело рассмеялся.

– Послушай-ка, – сказал он, как бы невзначай, – не сатана ли поднял Ляпунова на нас? Как думаешь?

Буянов насторожился.

– Не знаю я ничего о Ляпунове... – отрицательно покачал он головой.

Доморацкий пытливо посмотрел ему в лицо.

– Сатана и святых искушает, – ласково улыбнулся он.

Покрутил ус и отошел в сторону, любясь танцующими парами. Мазурка кончилась. Громко разговаривая и смеясь, пары расселись по скамьям вдоль стен.

Заиграла музыка и в палату одна за другой вбежали пары танцоров, одетых в русские костюмы. Среди палаты стоял кривоногий человек в расшитом золотом кафтане, с жезлом в руке, которым он махал в такт музыке.

Пан Доморацкий приблизился к сотнику и указал на танцующих.

– Дивись! Бывшие чернички и чернецы услаждают нас изящною грацией. Московия не замечает красоту... Панская власть обратит вашу страну в цветущее государство... сделает вас просвещенными, веселыми и богатыми...

Сидевшие на скамьях паны и их дамы, показывая пальцами на переодетых черничек, покатывались от хохота.

Музыка становилась все быстрее и быстрее. Человек с жезлом, приседая, покрикивал на своих танцоров зычным солдатским голосом. Жезл в его руках ходил ходуном – иногда казалось, что он подстегивает им танцующих.

Буянов тут только обратил внимание на группу католических клириков у входной двери. В серых шелковых сутанах, веселые, самодовольные, они перешептывались между собою,

поглядывая на переодетых черничек. К ним подошел Гонсевский, успевший в царских покоях облачиться в голубой венгерский мундир. Клирики заговорили с ним, притворно скромничая.

В самый разгар танцев вдруг поднялась суматоха. Буянов увидел караульного польского ротмистра. Высокая меховая шапка его была в снегу, лицо красное, возбужденное. Музыка умолкла. Танцы мигом прекратились. Выслушав ротмистра, паны подняли крик, угрозы, ругань.

До слуха стрельца донеслось:

– Ляпуновцы напали на наш обоз под Малоярославцем.

Буянов остолбенел.

Кто же это так некстати поторопился? Вчера только Андрей Васильевич Голицын предупреждал, что надо всячески ладить с панами. До марта не следует затевать никаких ссор, пока не придут первые отряды Ляпунова. Мыслимое ли дело – москвичам одним бороться с польским гарнизоном?!

– Не сами ли они на себя напали?! Я слышал тайный разговор иезуитов вчера в трапезной... Пробуют они... испытывают... Како мыслишь? – тихо шепнул Буянову один из его друзей-дьяков.

– Как они могут сами на себя напасть?! Чудно! – удивился стрелец.

– Дабы иметь повод к нападению на нас.

Разговору помешал Доморацкий.

Он подошел к Буянову и спросил:

– Сколько у тебя стрельцов?

– Двести сабель.

– Утром – в стремя! Бить бунтовщиков. На тебя надеемся.

И, немного подумав, добавил:

– Я слышал, что ты не пускаешь дочь в Кремль? Строгость губит женщин более, нежели любовь. Внуши ей, чтобы она не сторонилась своей подруги, Ирины Салтыковой.

Буянов очень удивился этой неожиданной заботливости Доморацкого.

На дворе снежная ночь. В зеленом полумраке около одинокого фонаря медленно крутятся снежинки.

В глубине Кремля раздается лязганье оружия, слышны голоса жолнеров, фыркание коней. Иван Великий, кремлевские стены, башни и дворцы – всё прикрыто живым прозрачным флером снегопада. Буянов, выйдя из Грановитой палаты, сразу почувствовал облегчение. В мягком зимнем воздухе, чистом и таком родном, к Буянову вернулись его обычная бодрость и вера в успех.

В темноте послышались плачущий голос, окрики солдат. Через Тайницкие ворота вели какого-то человека караульные.

– Прочь! Пагубные волки! Почто терзаете! Увы, горе, горе нам! – кричал он.

Буянов остановился, прислушался. Нащупал за пазухой пистолет, но... возможно ли? Нет! Нет! Не время!

И он быстро зашагал по набережной к себе в слободу. Там его дожидались охваченные тревогою Мосеев и Пахомов. Наталья бросилась навстречу отцу, обрадованная его благополучным возвращением из Кремля. В последние дни ее мучило предчувствие чего-то страшного; казалось, какое-то несчастье должно случиться с ними. Недавно нижегородцы случайно поймали в сених буяновского дома неведомого бродягу, притворившегося немым. Он вырвался и убежал.

Буянов рассказал обо всем, что видел и слышал в Грановитой палате. Поведение Доморацкого, его вопросы и шутки показались нижегородским гостям очень подозрительными.

Пахомов посоветовал Буянову бежать в Нижний, но Буянов с негодованием отверг мысль о побеге.

IX

Под шумок из Грановитой палаты ушли Мстиславский и Салтыков.

Мстиславский хотел кое о чем поговорить с «королевским советником». Накопилось на душе у старого боярина немало горечи. Он отказался ехать к себе домой в возке и предложил Салтыкову пройти пешком.

В высокой собольей горлатной шапке¹⁹ и в пышной, крытой «золотым бархатом» шубе с громадным стоячим воротником, медленно шагал он по кремлевскому двору, надменно выпятив бороду. Громко, со злом стучал он по обледеневшей земле чеканным индийским посохом. Рядом с ним, ниже его ростом, подвижной и разговорчивый, в польской шубе, без петлиц, поперечных шнуров и пуговиц, в маленькой, остроконечной бархатной шапчонке шел Михаил Глебыч.

Мстиславский умышленно оттягивал разговор, лениво ворча:

– Доплясались!.. Ляпунов небось не спит. И что за охота прыгать по избе, искать, ничего не потеряв, притворяться сумасшедшим и скакать скоморохом? Человек честный должен сидеть на своем месте и только забавляться кривлянием шута, а не сам быть шутом... Нам забавлять других – не рука. И неужели ты это одобряешь?

Старику хотелось высказаться порезче, поязвительнее, но он все-таки опасался Салтыкова, зная его как защитника польских нововведений.

Со стороны Москвы-реки налетал резкий пронзительный ветер – зима истощала свои последние силы. Вчера таяло, настоящая весна, – сегодня холод и вьюга. Гололедица мешала идти. Мстиславский, то и дело поскальзываясь, ругался вполголоса. Михаил Салтыков втихомолку фыркал. Так они добрались до палаты Мстиславского. Разделись. Положив поклоны перед божницей, сели за стол. Потрескивал трехсвечник.

– Так-то, мой сватушка, – медленно начал Мстиславский, снимая пальцами нагар со свечи. – Отступил ты от нас! Да. Отступил. Мотри, худа бы от того не вышло! Больно ты уж смел да ловок.

Салтыков молчал, не торопясь оправдываться. Мстиславский, наоборот, напряженно ждал, что вот-вот он всполошится, станет ретиво обелять себя. О, как этого хотелось Мстиславскому! Это значило бы, что Салтыков боится его.

И вдруг он услышал совсем иное:

– Отступил я от тебя, Федор Иванович, да и не напрасно. На Запад зрю! Вижу дальше вашего. Подумай сам: силен ли наш народ вылезти из ямы, не ухватясь за чужую руку? Блажен, кто оную нам протянет! Пускай будет то и не польский король, а свейский²⁰ либо немецкий, либо гишпанский. Лучше камень бросать напрасно, нежели надеяться на наш народ. Не упрекай, что отступил! Отступил с умом и не сожалею о том.

Мстиславский с удивлением слушал Салтыкова, стараясь угадать: какие еще милости обещал ему король? Народ считает его предателем, а он старается доказать, что изменил на пользу России. В Москве в нем видят Иуду, а он клянется перед иконою в том, что, кроме добра, ничего не желает народу. По его словам, он хочет спасти народ, отдав его во власть иноземцев. Только от них он будто бы ждет умиротворения государства, ссылаясь на варягов, вздыхает, клянется, что Россия сама собой не управится!.. Но не то же ли самое говорит и польский король, и немцы, и иезуиты? Появилось у него немало сторонников среди служилого дворянства. О них тоже никто не может сказать ничего хорошего. Бегают тайком на иезуитский

¹⁹ Дорогие боярские собольи шапки (из меха с горла соболя).

²⁰ Свейский – шведский.

двор в Кремле, всюду нос суют, прислуживаются к шляхте. Какие тайны могут быть у русских людей с польскими панами?

– Хитро судишь! – с растерянной улыбкой покачал головой Мстиславский. – Только не в пользу. Не отрекутся ли от нас дети наши и не посмеются ли над нами горьким смехом за этакую мудрость? Вот твой сын Иван²¹ тово уж... пошел против тебя. Не без причины! Слава о тебе неважная.

Салтыков спокойно ответил:

– Свежий цветок поутру может быть погублен засухой в полдень. Многих чистых юношей испортило с ростом наше время. Бог судья моему Ивану! А слава?! Человечьей брехни и на свинье не объедешь.

И, приблизив свое лицо к лицу Мстиславского, тихо сказал:

– Тебя тоже изменником прославили! Будь прост!

Не бойся правды! Не ты ли в совете с Гонсевским послал гонцов к черкасам? Не ты ли вошел в сговор с вором-изменником, воеводой Исайкой Сунбуловым?! Вот осадили они Пронск, помешали Ляпунову идти на Москву. Дело сделано. Ты оттянул от поляков и от нас ляпуновское и земское ополчение... Это ли не измена?! Како мыслишь?!

Мстиславский, тяжело дыша, откачнулся от Салтыкова:

– Михайла!.. Страшно! Ужель ты и впрямь Иуда?

– Ты чего?! Федор Иваныч?! – тихо, каким-то чужим голосом спросил он. – Ведь это я так, без обиды.

Мстиславский ударил кулаком по столу, крикнув:

– Ну-ну, верти! Верти! Заливай душу ядом!

Всё, что у него накопилось против Салтыкова, теперь рвалось наружу. Салтыков поднялся с места:

– Федор Иваныч, не шуми! Не то уйду!

– Прости ты меня, господи боже, грешного! – со злом стукая себя по лбу перстами, сложенными в крест, поднялся с кресла и Мстиславский. – Прости меня, батюшка, что я связался с сукиным сыном, с Мишкой Салтыковым!

– Да что ты! Милый! Спаси бог! Приди в себя, Иваныч! Помочи голову водицей.

Салтыков хотел обнять Мстиславского. Тот с негодованием оттолкнул его:

– Прочь! Креста на тебе нет, Мишка! Не сам ли ты подстрекал меня поднять черкасов?! И не ты ли свел меня с Сунбуловым? Не сам ли напугал всех нас Ляпуновым?! А в этот час равняешь меня с изменниками?! А-а??!

– Слушай! Слушай!.. Да не горячись! – протянул к нему руки Салтыков.

– Прочь, несытая душа! Прочь!.. – затопал ногами Мстиславский. – Вон!

Салтыков снисходительно покачал головою и неторопливо повернулся к двери.

– Гляди, не ошибись, боярин! – донеслось из сеней.

* * *

Выйдя на кремлевский двор, Салтыков перекрестился на все стороны и с самодовольной улыбкой, подбоченясь, огляделся кругом.

А все-таки его взяла! Семибоярщина развалилась. Паны верховенствуют, и он у них первый человек. Все притихли в Кремле, – только он чувствует себя бодро и весело, только он теперь никого не боится...

²¹ Иван Михайлович Салтыков – новгородский воевода, был заподозрен в измене родине; он уверял новгородцев, что «буде приведет литовцев сам его родитель, он и тогда будет биться с ними». Новгородцы все же ему не верили и в конце концов посадили его на кол.

А с Ляпуновым легко справиться, посеяв раздор в его лагере. «Совсем не трудно развалить дворянскую орду честолюбцев!»

Темно и пусто на кремлевском дворе. Кое-где у церквей тусклые фонари. Голосят псы. Перекликнулись часовые. Стрельнула пушка в Китай-городе. В последнее время польские лазутчики часто ловят иногородних ходоков-разведчиков. Вести о восстании по замосковным местам становятся всё настойчивее. И очень хорошо, что он, Салтыков, да Федька Андронов, да Ивашка Безобразов, и Трубецкой Юрий надоумили Мстиславского напустить на Ляпунова черкасов. Теперь не так-то легко будет Ляпунову двигаться к Москве. Тем временем падет Смоленск. Не век же ему обороняться?! Сигизмунд выписал из немецких земель осадные пушки; теперь недолго ждать; король сможет привести свое войско и в Москву. Судьба Московского государства будет решена. На плаху тогда всех врагов его, Салтыкова! Для него не тайна, что Мстиславский, Шереметев и другие именитые бояре не признают его «своим», считают его поднявшимся выше «отечества»²². Ссылаются на то, что ни отца его, ни деда они не знавали, даже и в окольных. «Подождите, – думает Салтыков, – я вам дам знать, кто я такой!» Некоторые вельможи склонили уже голову перед ним. Князь Тюфякин из Оболенских, Хворостинин из Ярославских, Масальский, Плещеев и целое полчище дьяков, разбросанных повсеместно, а дьяки, приказные люди, – это его сила! «И панов я обману... – посмеивался про себя Салтыков. – Пускай помогут мне взять власть в руки, а там я поверну всё по-своему!..» Король сделает его, Салтыкова, первым вельможею. Он не забудет своего верного советника! Тогда-то он посчитается со всеми, кто ему мешал. И возведет в чин высокий всякого, кто был его единомышленником. Сейчас они таятся, отрекаются от него, от Салтыкова. Глазами плачут – сердцем смеются. Скрываются. В разных городах, однако, воеводы только и ждут падения Смоленска. А этот город чего-нибудь да стоит. Когда пробьет час, они сразу перейдут на сторону короля. Кому-кому, а ему, Салтыкову, многое известно. Немало польского золота разметал он по карманам замосковных воевод. Удача нахрап любит, упустишь время – не воротишь. А Мстиславский тем знаменит, что храбрый воин на поле и беспомощен в делах государственных. Может ли он понять его, Салтыкова, дружбы которого искали даже иноземные владыки?²³

С такими мыслями Михаил Глебович, не торопясь, добрал до своего дома. У входа остановился, помолвившись на соборы.

* * *

Мстиславский, старейший из всех бояр, глава боярского правительства, храбрейший из российских воевод, запил.

Он, не отступавший в боях перед самыми страшными опасностями, вдруг почувствовал себя бессильным разорвать сети, которыми опутали его Гонсевский, Салтыков и Андронов.

Но самое страшное, что повергло его в глубокую тоску, это то, что во всем он винил теперь только самого себя. Только себя!

Зачем отворил кремлевские ворота польским всадникам? Испугался крестьянского бунта? Себя не обманешь! Смалодушествовал. В панах увидел спасителей?! От кого?

От своего же народа?!

Разве не он, Мстиславский, в Боярской думе поддерживал тех, кто, испугавшись холопов и городской черни, требовали признания царем всея Руси польского королевича Владислава? Не он ли испугался и тушинского царька, поднимавшего чернь на бояр и богачей?! Но ведь и это не всё! Королевича Владислава он звал еще и потому, что не хотел, чтобы на престол влезли одинаково родовитые с ним, Мстиславским, люди: князь Василий Голицын или

²² Выше своего родового происхождения.

²³ М.Г. Салтыков неоднократно бывал в Пруссии и Польше с разными поручениями от московских царей.

который-нибудь из Никитичей²⁴ ... Он, Мстиславский, не искал престола, но не хотел, чтобы и другие бояре хватались за скипетр...

И теперь, потягивая из чаши вино, Мстиславский бормотал:

– Никому! Не пушу! Прочь, собаки! Убью!

Словно в бреду, он проклинал покойного царя Ивана Васильевича... Зачем он, царь, стер с лица земли уделы?... Теперь мужики на всей Руси стали одной ордой... Их сила выросла непомерно... Уделы их разъединяли, держали в границах удела, а теперь и ярославские, и муромские, и все другие слились в одно... Сила!

Швырнув на пол серебряный кубок, он вскочил с кресла и, потрясая в воздухе кулаками, как бы набрасываясь на кого-то, ринулся к двери. Седые кольца волос слиплись на потном лбу.

Тяжело дыша, он опустился в кресло и, утомленный, впал в полузабытье, – к тому располагала и близость жарко натопленной печи.

В палате было просторно и чисто. Пол покрывали домотканые ковры. Обширную божницу освещали желтые и зеленые лампы.

В последнее время старик стал бесстыдным ругателем. Это заметили и его домашние, и друзья. И то, что вокруг была покорная тишина и никто не отвечал на его брань, заставляло его иногда открывать в недоумении глаза. Глодала тоска. Никто его не боится – это самое постыдное. Делая над собой усилие, чтобы вновь воспламениться гневом, он ударял кулаком по столу и, обычно тихий, скрытный, нелепо рычал себе в бороду:

– На кол! В землю закопаю! Василиски!

В дверные щели со страхом следили за ним его Ваньки, Гришки, Петьки – заброшенные, некормленные холопы.

Однажды на рассвете, очнувшись, Федор Иванович, кряхтя, поднялся, подошел к решетчатому окну, заглянул наружу и увидел на площади скачущих к его дому всадников... «Кто такие?! Мурзы? Чего им?!»

Поторопился, сел в кресло, важно надувшись.

В сенях послышался шум, говор. Вошли князь Черкасский, Безобразов и татарский наездник. Вошли, как были, в шубах, сняли шапки, низко поклонились. Татарский наездник пал ниц.

Хмельными глазами удивленно взглянул на них Мстиславский.

– Чего еще?!

Вперед вышел князь Черкасский.

– Зарайский воевода князь Дмитрий Пожарский вышел из города не с великими людьми, но разбил наголову наших черкас у Пронска, из острога²⁵ выбил он их, побил многих. Исаак же Сунбулов, видя крепкое стоятельство Пожарского, побежал к Москве, а черкасы утекли на Украину...

Мстиславский, отдуваясь и переваливаясь в туфлях на босую ногу, отошел от стола. Прижался спиной к зеленой муравленой печи, словно пытаясь унять холодную дрожь.

Он не сводил вопросительного взгляда с князя Черкасского.

– Ну?! Что ты?! – трезво спросил он и, увидав рассматривавшее его с любопытством женообразное лицо мурзы, все еще продолжавшего лежать на полу, кивнул в его сторону: – А он чего?!

– Перебежчики, ляпуновские... Утекли из Рязани...

Мстиславский провел ладонью по лбу, как бы вспоминая что-то:

– Ляпунов?! Идет?!

– Идет.

²⁴ Никитичи – Филарет и Иван Никитичи Романовы.

²⁵ Острог, острожек – укрепление.

– На нас?!

– Да. Уж близко!

Безобразов, усатый увалень, пихнул ногой мурзу:

– Н-ну!

Мурза быстро вскочил и заговорил, приблизившись к Мстиславскому.

– Велик князь! Ляпунов обижает бедных мурза. Обижает и казаков, и атаманов, и полковников. Моя приходил к нему на поклонение и стоял у него, у избы, многая время. Моя не пускал он, лаял, плетью бил. И все люди Аллаха, и вотяк, и мордва разбежался.

Мстиславский налил вино в чашу и поднес мурзе:

– Пей, нехристь!

Мурза быстро опорожнил чашу и, обтирая губы, отошел в сторону.

– Велика ли рать у Ляпунова?.. – деловито спросил мурзу князь Черкасский.

– Ой, многа! Ой, многа! Сколь птиц там, – мурза показал пальцем вверх, – у Аллаха, столь многа человек...

– Стало быть, вор Салтыков и тут обманул меня?! – покачал головою Мстиславский. – Он умалял рязанскую орду.

Некоторое время все молчали. Потом Мстиславский, усевшись в кресло, в раздумье тихо произнес:

– Стало быть, так бог решил. Великие земли и грады наши, и горы, и холмы паки и паки²⁶ кровью обольются. Богоотступник – Прокопий! Совесть потерял! Гонсевский знает о том?

– Нет.

– Поднимай ляхов!.. Иди! – мрачно махнул рукой Мстиславский. – Иди! Все одно! Честь потеряна!..

Бессмысленно повторял Мстиславский:

– Всё одно... всё одно... идите!..

И когда Черкасский, Безобразов и мурза вышли из его палаты, он торопливо выпил одну за другой две чаши вина...

– Укроти, господи, в нас сущая междоусобные брани и церковные раздоры и нам полезная устрой, да в мире и тишине пребудет наш пресветлый град! – Опустившись на колени, со слезами на глазах, принялся он усердно молиться о своих грехах.

²⁶ Паки – опять.

Х

В церкви Покрова условились встретиться Ирина Салтыкова и Наташа Буянова. Совсем недавно Ирина была дочерью незнатного окольного, а Наталья – дочерью лучшего стрелецкого сотника. Теперь же Михайла Салтыков стал «королевским советником», вельможей и поселился наряду с панами в великокняжеских хоромы в Кремле. Дороги у Ирины и Натальи разошлись. На паперти храма по-старинному обнялись. Месяца три ведь не встречались.

Ой, как изменилась Ирина! Не узнаешь. Настоящая шляхетка. От нее пахло немецкими травами. Многие боярышни теперь варили их у себя в терему (польские дворянки научили). Душились крепко, так, что московские обыватели, оказавшись в соседстве с боярышнями, испуганно крестились, зажимали нос и отплевывались. Ирина, как и все боярышни, густо белилась, румянила себе щеки и чернила брови углем. Вся она была какою-то неживой, похожей на куклу. Не та уж, что прежде, – простушка и забавница.

– Ой, Ирина, милая, что с тобою?! Околдовали тебя паны? – всплеснула руками Наталья. Глаза Салтыковой затуманились. В ее голосе почувствовалась усталость.

– Живем, Наташенька, поколе бог грехам терпит! И тебе с твоей красотой не худо бы подумать о жизни.

Девушек обступили нищие и юродивые.

– Боярышни, красавицы, во темном лесу заплутались мы, потерялись в этом несправедном свете. Одно нам осталось – могилушка! – причитали они, протягивая сухие костлявые руки для подаяния.

Ирина раздавала серебро направо и налево, пробираясь к своему, убранному турецкими²⁷ коврами возку. Гайдуки распахнули перед ней полог, она позвала с собою и Наталью. Возок тянули две пары рослых коней цугом; на каждом коне – верховой конюх! Цуговая шлея, постромки, узды и поводья были красные, бархатные. Около возка шло несколько слуг.

Два дюжих гайдука стояли на запятках. Наташу охватило любопытство и какое-то новое волнующее чувство. Может быть, это зависть?! Да, пожалуй, и она, Наталья, не отказалась бы от такой узорчатой, отороченной соболем шубки, от шапочки с красным бархатным, красиво спущенным набок доньшком, золоченая кисточка которого прилегал к брововому околышу шапки. А какое ожерелье! Жемчуг, настоящий жемчуг!

– Милая Иринушка! – робко молвила Наталья. – Не боишься ли ты этакой жизни? Не споткнуться бы тебе и не упасть.

Ирина ответила беспечно:

– Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. Мы не святые, можем и согрешить.

– Не оскверняешься ли, Иринушка, получая богатство из рук нечестивых?

– Всяк свою веру хвалит, Наташенька. Их попы говорят не хуже наших. Приходи, послушай. Не боюсь я теперь ничего! Богатство хорошо, пока оно есть.

– Но власть твоего батюшки, Михайлы Глебыча, недолговечна, – покуда паны господствуют... А побьют их... плохо будет.

Ирина вспыхнула, глянула гневно:

– Побьют?! – вскинув брови, повторила она. – От кого ты слышала?! Отец не говорил ли чего? Не скрывай. Я твоя подруженька. Не слыхал ли чего он в посольском лагере?!

Наташа насторожилась. Не понравилось, что Ирина помянула отца и выпытывает у нее, что он творил. Она вспомнила его наказ, чтобы «из избы сора не выносить». Она страшилась несчастья, которое может произойти, если паны узнают о замыслах отца, о том, что он сам

²⁷ Турецкими.

готовится уйти к Ляпунову и ее обучает стрельбе из лука и верховой езде. Наташа раскаивалась – зачем она распустила язык и сболтнула чего не след.

– Не пытай!.. Не мое дело то. Ничего не понимаю я. Глупая, как и все.

Увидав из возка бабу с коромыслом, Ирина приказала остановить лошадей. Выскочила, побежала к бабе. Дернула ее за рукав, заглянула в ведра – и убежала обратно.

– Пустые! – печально сказала она, усаживаясь в возок. – Не к добру. Удачи не будет.

Наталя вздохнула:

– Ирина, Иринushка, как видится, и богатым покоя нет! И они думают, и они кручятся...

– Пустое, – обиженно надувшись, проговорила Ирина. – Нечего нам бояться. Мой батюшка при всех царях будет именит. Он мудрый.

Наталя и не заметила, как салтыковский возок вкатил по мосту через ров во Фроловские ворота и остановился у кремлевского жилища Салтыкова. Свой дом в Китай-городе он оставил заколоченным.

– Кремль! Ах, ах, какая я растрепана!.. – всполошилась она.

– Ну и что же? – успокоила ее Ирина. – Побывай у нас. Такие же мы православные, как и вы. Не гнушайся нами.

Что уж это ты стала нас избегать?

Наталя подумала: «В самом деле, чего я боюсь, глупая?! Ужель я хуже других? Пойду да посмотрю, как новые бояре живут!»

И пошла.

Высокое крыльцо, а за ним – просторные сени. Девушек шумно встретил худенький, малого роста, с наивным бескровным лицом отрок лет тринадцати. Он раскинул худые руки: «Не пушу». Ирина оттолкнула его. Он вцепился в нее, засмеялся.

– Мишка! Миха! Вор! Прочь! Матери скажу!..

Отрок притих, испуганно отошел прочь.

– Кто это! – спросила Наталя.

– Мишка Романов!.. Живет тут... Мать хлещет его каждодневно, а все не унимается. Только матери и боится. Сын Филарета Никитича.

Ирина провела ее наверх, в свою светелку. Наталя сначала отказывалась, вспомнив запрещение отца дружить с Ириной, но любопытство взяло верх. Ирина по секрету рассказала Наталье о том, что скоро выходит замуж за помощника кремлевского коменданта, пана Пекарского.

Из серебряного ларца осторожно вынула богатое монисто и надела его на шею Наталье. Подвела ее к зеркалу.

– Видишь? Ты еще красивее стала, – произнесла она, любуясь Натальей. – Это мне подарил он.

Монисто было собрано из драгоценных камней и из золотых бляшек, похожих на монеты; на груди оно заканчивалось крупным сердечком из ярко-красных сверкающих рубинов.

Глаза Натальи разгорелись: монисто было так прекрасно!

Ирина, видя восторг Натальи, накинула ей на голову золотую диадему с двенадцатью гранеными изумрудами и множеством жемчужных зерен, нашитых на голубом атласе. Словно звезды на весеннем небе!

– Гляди сама! Найдется ли в Москве такая красавица, как ты!

Наталя любовалась собою в зеркало, изумленная, одурманенная. Голова кружилась. Будто сквозь сон, услышала она голос подруги:

– Чего ради хоронишь себя в Стрелецкой слободе?.. Чего ради губишь дивную красоту свою в отцовском застенке?! Живем мы один раз! Затворничество – старухам и уродам! Гос-

подь с ними! Золото хорошо, когда его тратят, так и красота девичья. Оставайся у меня. Я тебе еще много всего покажу и подарю.

Ирина развернула перед Натальей на столе атласы венецийские, турецкие, немецкие; бархаты флоренские, калмыцкие и литовские, расшитые травами золотыми и листьями серебряными. В ее маленьких розовых пальцах мягко, словно ручеек, струился нежный китайский шелк.

– Будет! – прошептала Наталья, опускаясь в парчовое кресло и закрыв руками лицо. – Слаба я!

– Господи, что с тобой, дорогая! – всполошилась Ирина. – Ах, как тебя испортила бедность! Твой отец не жалеет тебя. Он не понимает... Он губит себя, погубит и тебя с твоей красотой. Уйди от него.

– Нет, нет, Ирина! Не то говоришь! – почти простонала Наташа. – Пусти меня! Я вернусь домой. Ты хочешь измены?!

– Какой измены? Кому ты можешь изменить? – пристала к ней Салтыкова. – Какой? Ну, ну, говори!.. Какая измена?!

Наталья поняла, что опять проговорилась, и ничего не ответила подруге.

Та надулась, ушла из светелки.

Оставшись одна, Наталья опустилась на колени и стала молиться, обратив взгляд к окну, через которое был виден Успенский собор.

Она молилась о том, чтобы не было худа ее отцу и чтобы отогнал бог от нее мысли о роскоши и тунеядстве. В эту минуту ее охватило неприязненное чувство к Ирине.

Вдруг дверь тихо скрипнула, и на пороге выросла фигура кремлевского коменданта и воеводы тайных дел пана Доморацкого. В зеленом бархатном кафтане с черной обшивкой, в зеленых сафьяновых сапогах – весь зеленый, – с саблей через плечо, сухой, бледный и неуклюжий, непомерно высокого роста, он испугал Наташу.

Заметив это, он сказал:

– Ничто не может столь опечалить меня, как женщина, пугающаяся моего присутствия... Я страх навожу на мужиков, бунтующих против короля, но не на красоток, подобных тебе...

Близко подошел к Наталье, ласково взял ее за руку, заглядывая ей в лицо, засмеялся. Серые пронизательные глаза его оставались серьезными, в то время как на губах играла улыбка.

– Может быть, у страха повод есть? – тихо спросил он.

– Ирина! – что было мочи крикнула Наталья, в ужасе попятившись от Доморацкого.

– Не кричите! Ее уже тут нет... – холодно произнес поляк.

– Отпусти меня! – набравшись смелости, громко сказала девушка.

Не сводя пытливого взгляда с Натальи, он спросил:

– Куда ходит по вечерам твой отец?

Наталья вспыхнула, лицо ее стало сердитым. Какое ей дело? Она ничего не знает! Всё это она и высказала Доморацкому просто, без возмущения.

Пан-воевода загадочно погрозил пальцем:

– Ну, ну, ну! Не будь скупа! Признавайся! Передо мной ли хочешь таиться?! Я всё насквозь вижу.

– Я ничего не знаю...

– Князя Андрея Голицына знаешь? Да? – с язвительной улыбкой спросил Доморацкий. – Не так ли? Его-то ты, наверное, знаешь?! Он – друг твоего отца... Отвечай: слыхала ли ты про такого князя?!

Наталья почувствовала себя пойманной. Встретившись глазами с настойчивым испытующим взглядом Доморацкого, она, обессиленная, подавленная, села в стоявшее рядом кресло.

– Ну! – торопил ее пан. – Знаешь ли ты князя Андрея Голицына? И о князе Пожарском не слыхала ли чего?

– Тоже не слыхала...

– Что делается в Нижнем, на твоей родине, тоже не знаешь?

– Нет.

– А не были ли у вас гонцы из Нижнего, два парня?

– Нет! – твердо и решительно отвечала Наталья, собравшись с последними силами.

Доморацкий хлопнул в ладоши.

Вошел Игнатий, приближенный панами к себе. Он вошел с епитрахилью на груди, держа крест и евангелие.

– Ну-ка, проповедник! К присяге ее!

– Исповедай пастырю похотение твое!.. – размахнулся крестом Игнатий. – От сердца бо исходят прелюбодеяния, любоддеяния... Дщерь Иродиады, плясавши и угождавши Иродови и возлежаще с ним...

Пан Доморацкий положил свою тяжелую руку на плечо Игнатия.

– Не то!.. Пускай присягнет: истинно ли она не знает, что делает ее отец и куда он ходит? Истинно ли она не знает ничего о князе Андрее Васильевиче Голицыне и о нижегородцах, о Ляпунове, о Пожарском? Кто нижегородские гонцы, где они, с какой нуждой явились в Москву к ее отцу в Стрелецкую слободу?! Ну, живее!

Наталья громко поклялась под присягой, что она и в глаза не видала нижегородцев и не знает ничего о князе Голицыне и о других.

Игнатий дал поцеловать ей крест – она приложилась безо всякого колебания, ибо считала наихудшим из грехов предать отца и его друзей.

Доморацкий властно указал Игнатию рукой на дверь.

Низко кланяясь, тот удалился. Вошел Михаила Салтыков.

Как бы забыв о Наталье, они повели между собой беседу.

– Утром, – сказал Салтыков, – еще привели пять соглядатаев да много негодяев, порывавшихся к бунту.

Доморацкий улыбнулся:

– Kiedy chrabaszczе sa, to urodzaj jest²⁸.

– Вельможный пан! Горе нам, коли Прокопий подступит к столице. Об этом у нас меньше думают, чем следует, – строго сказал Салтыков, недовольный рассеянным видом Доморацкого.

– Ясновельможный пан советник, – возразил Доморацкий, – я послал по всему пути от Рязани и до Москвы своих людей. Хитростью и умышлением врагу не подойти к нам.

Спохватившись, он покосился на Наталью и мрачно сказал Салтыкову:

– Пускай погостит она у вас в доме, – и ушел.

Салтыков запер Наталью в Ирининой светелке, а сам вышел в темный коридор, чтобы спуститься вниз.

Неожиданно он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Из темного угла вылез Игнатий.

– Ты чего?! – удивился Салтыков.

Осмотревшись кругом и не видя никого, Игнатий взволнованно напомнил Салтыкову о том, чтобы тот замолвил о нем слово Гонсевскому. Он, Игнатий, еще не потерял надежду вернуть себе прежнюю почесть, занять достойное положение: «Неправедно страдаю!»

Салтыков рассмеялся:

– Не торопись! Всё будет. Для начала хорошо и то, что есть.

Игнатий подобострастно поклонился Салтыкову.

²⁸ Обилие майских жуков предвещает урожай.

* * *

Ирина, вышедшая в кладовую, чтобы угостить подругу брагой, хотела вернуться снова к себе, но отец загородил ей дорогу, велел идти в покои матери. Ирина видела, как в ее горницу вошел пан Доморацкий, видела вертевшегося в дверях Игнатия, но не поняла ничего. Отец на все ее вопросы отмалчивался. «Не твое дело! – ворчал он. – А за то, что привела буяновскую девку, спасибо! Хорошо! Давно ее ждем!»

Ирина растерялась. В последнее время вообще в их доме творилось много непонятного и много толкалось разных неизвестных людей. Вернувшийся из розысков в Кремль несколько дней назад Пекарский, прежде чем заходить к ней, подолгу просиживал у отца. Словно отчитывался перед ним. О ней, об Ирине, он как бы забыл теперь. Но что такое любовь, что такое женщины и дети здесь?! Все поглощены тем, что говорится, что делается в палатах Гонсевского, на иезуитском дворе. Долго ли будут упорствовать защитники Смоленска, не провозят ли тайно москвитяне оружия, не готовятся ли к восстанию?

В панских палатах много пили. Происходили драки. Скука и подозрительность были написаны на всех лицах. Какое кому дело до ее любви, до ее страданий!.. Даже тому, кому она поверила и отдалась, пану Пекарскому, было не до нее. Да и самой ей стало жутко. Всё кругом казалось таким непрочным.

Поляки готовятся к чему-то. Призадумался и Пекарский. Теперь он, вздыхая, уверял, что воевать с русскими куда труднее, нежели с турками, румынами, литовцами. О мужиках говорил уже без усмешки, а со страхом... Он много всего наслушался и насмотрелся в замосковных местах и еще более жестоко стал обращаться с попадавшими ему в руки простолюдинами. Целые дни проводил он теперь в застенке: пытал, мучил, убивал...

Что же они хотят сделать с Натальей?! Конечно, и ее задержали не зря – выпытывают что-нибудь. Отец часто говорит с озлоблением о Буянове и называет при этом имя князя Андрея Васильевича Голицына. Однажды в разговоре с паном Пекарским Михаил Глебыч сказал, что Буянова надо взять под стражу... Он – опасный человек.

Ирина научилась многое понимать и многое угадывать.

От страха перед россиянами мысли и действия польских панов стали однообразными... Застенок... шпионство... ожидание короля – вот что тяготело над кремлевским гарнизоном.

Скоро ли Доморацкий выйдет из ее горницы? Хотелось бы поговорить с Наташей начистоту. Тянуло сознаться ненавидевшей панов подруге в том, что и ее, Ирину, обманули они, что она была легковерна и глупа.

Но нет! Лучше умереть, нежели признаться подруге в своей ошибке! Мешают гордость, самолюбие.

* * *

Поздно ночью вернулся Буянов домой. Он обошел Китай-город и Белый город, отыскивая свою дочь. На душе было тяжело. Не знал он, что и подумать. Пугала мысль: «Жива ли?» Словно сквозь землю провалилась! Время тревожное! В последние дни, слыша об угрозе Москве со стороны Рязани, гусары нередко хватали девушек среди белого дня, прямо на улице. Жители вступали с ними в рукопашную, защищая своих жен и дочерей. И падали, изрубленные саблями.

Буянов, подавленный горем и охваченный гневом, не мог спать.

Он твердо решил завтра поутру идти в Кремль к пану Доморацкому и просить его помочь ему найти Наташу. Пускай поставит на ноги своих сыщиков – их у него много, – должна же она где-нибудь находиться?!

В дверь кто-то постучал.

– Она! – обрадовался Буянов.

Дрожащими руками отпер дверь.

В горницу юркнул часто бывавший у Буяновых скоморох Халдей. В какой-то повязке на голове, с окрашенным в синий цвет носом и ярко-красными щеками, держа кочергу под мышкой, прошел он по горнице крадучись, опасливо оглядываясь по сторонам.

– Ты чего, Халдей? Почто бродишь ночью, кого веселишь? – спросил печально Буянов.

– Михаил Андреич, несчастье! – простонал скоморох.

– Что такое?! Какое несчастье?! – вздрогнул Буянов.

– В ночлежке у одноглазого... что близ Девичьего монастыря... подслушал я... Игнатий сказывал, что брал он присягу у дочери твоей. Сам Доморацкий велел его напоить за то. А дочку твою в Чудов монастырь якобы заточили. Сидит там. Спасайся! И за тобой придут!.. Беги!.. Проговорился мне пьяный инок, беги!

Слезы навернулись на глазах у старого стрельца, но он мужественно смахнул их. Обнял Халдея и сказал:

– Прощай!.. Когда-нибудь отблагодарю.

Быстро собрался. Взял оружие. Наказал Халдею, чтобы он передал стрельцам в слободе только одно слово – «вербное». – Больше ничего.

– А народ продолжай веселить и врагов смей, потешай. Будь всем мил. Смеясь, помогай нам. Прощай.

Тихо вышли они на улицу...

XI

Гаврилка решил из Рязани бежать. Наказ смоленского воеводы он выполнил – передал Ляпунову грамоту Шеина. Дальше оставаться в Рязани было опасно.

Не так давно Ляпунов рассылал по деревням грамоты:

«...и которые боярские люди, и крепостные, и старинные, и те бы шли безо всякого сомнения и боязни: всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам, и грамоты им от бояр и воевод, и от всей земли приговору своего дадут».

А получилось совсем иное.

Ляпунов говорит одно, а его воеводы делают другое: ловят крепостных, заковывают их в цепи и отсылают к прежним владельцам. Норовят еще крепче закабалить, никуда не выпускают из вотчин. Ляпуновские воеводы пренебрегают ратной помощью своих крепостных; считают зазорным идти заодно с ними, да и побаиваются, как бы вооруженные крестьяне не подняли бунт. Рискованно раздавать оружие крестьянам.

– Бог с ней, с Рязанью, – сказал Гаврилка своим двум товарищам. Осипу и Олешке, когда город остался позади. – Не хотят нас – и не надо! Мы и сами с усами. Пойдем в Москву. Куда же иначе-то? В Тулу? Там и вовсе сидит тушинский атаман, вор и разбойник Заруцкий... В Калуге – не поймешь что. А в Москве дело найдется... Велика она.

Парни с недоверием поглядели на него...

– В Москву? – робко переспросил Осип.

– Да. Чего же ты испугался? – укоризненно покачал головою Гаврилка.

– Ничего. Мы только так...

Прибавили шагу.

От сосен шел приятный запах, радовала взор почерневшая дорога, убегавшая в чащу. Солнце давало себя знать. На дворе уж март – начало весны.

Лапти на всех троих новые; под онучи поддеты кожаные бахилы; армяки из толстого серого верблюжьего сукна (у татар заработали) и шапки войлочные, сбитые набекрень, чтобы кудрям было просторнее.

У Гаврилки под армяком оказалось широкое лезвие бердыша: срубить в лесу древко да насадить – вот и всё. С подобною секирой мог ли испугаться врага силач Гаврилка? Осип, коренастый парень, грудь колесом, усмехнулся, увидя важность на лице приятеля.

– Гляди! – грозно нахмурившись, он вытащил из-под армяка сверкнувший зубьями кистень. – Стукнешь – трое суток в голове трезвон будет.

Олешка – худой, рыжий молодчик, не мог ничем похвастаться.

– Я простой... У меня вот как!.. – засмеялся он, сжав кулак, словно готовясь кого-то ударить. – Пойду нараспашку да и побью вразмашку!

Оба товарища над ним посмеялись.

– Кто легко верит, тот легко и пропадает... Поостерегись бахвалиться...

На сучьях молодых сосен качались красногрудые снегири. Гаврилка, шутя, манил их рукою к себе:

– Эй, вы! Чего нахохлились! Айда с нами!..

Олешка вспугнул птиц, побежал за ними.

Гаврилка догнал его, ухватил за рукав.

– Уймись! Не пугай! Птица – божья.

Лицо его было сердитым.

Осип тоже заворчал на Олешку. Парень смутился.

– Пускай хоть птица вольно живет, без страха.

Потом забыли и про птиц, и про все на свете, запели песню. Эхо поскакало в чаще. И было приятно им слышать беспечный отзвук своих голосов. Вообще, чем дальше уходили от Рязани, тем веселее становилось им.

Освободившиеся кое-где из-под снега бугорки тоже напоминали о весне, так же как и воздух, легкий, душистый. Довольно поморозились, помучились со степными буранами и сугробами. Весною меньше опасностей и препятствий в дороге. И труднее станет боярам и полякам преследовать беглецов. Солнце, тепло и дорожная сушь – верные союзники всех беглецов. А там видно будет. Ловит волк, да ведь и волка ловят. Всяко бывает. Одним словом, всё впереди!

Олешка заявил:

– Жаль только мать да отца! Кабы их еще взять с собой.

После этого на всех напала задумчивость. Шли молча.

Нарушил молчанье Гаврилка:

– Боярин черту брат. Боярин черту душу заложил. А мы и без черта обойдемся. Сколь деревень – столь и нас! Устроимся.

Рать невеликая, оружие: кистень да бердыш без древка, зато бодрости и терпения на целый полк хватит. Были бы глаза острые да руки сильные, да ноги быстрые – раздобыть оружие можно. Военная стать впереди, а теперь – калики перехожие, убогие богомольцы. Где притворством, где силою, где ловкостью, а до Москвы так и эдак надо добраться. Хорошо бы где-нибудь на монастырскую братию натолкнуться да в рясы чернецкие обрядиться. К монахам поляки не столь придирчивы. За врагов их не считают. Смеются над ними – и только.

Лес кончился. Снова равнина. Никто не встретился на дороге. Однажды только пришлось спрятаться в чаще от двух латников. Наверное, это и есть гонцы польского воеводы Яна Сапеги. Давно поджидают их в Рязани. Посадские ворчат на Ляпунова, что он хочет вести переговоры о союзе с главным польским грабителем, разорившим многие русские села и деревни. Может ли быть союзником явный враг?

– Э-эх, люди, люди! – вздохнул Гаврилка.

В полночь добрались до маленькой бедной дерегушки, прилепившейся к склону лесистого холма. Подошли к ней осторожно, прислушиваясь ко всякому шороху.

В крайний домик постучали. Никто не отозвался.

Над темно-синим облачком появилась луна. Зеленоватый отсвет лег на причудливые очертания окрестностей.

– Не хотят нас... – прошептал Олешка, потирая уши.

К вечеру стало прохладно, пробирала дрожь.

– Не в овраге же ночевать, – сердито пожал плечами Гаврилка и снова стукнул в дверь.

– Эй, легше! Кто там? Дверь собьешь, – раздался недовольный мужской голос.

– Пусти, Христа ради! Застудились мы! – жалобно произнес Гаврилка.

Дверь отворилась.

– Эх, вас тут! Куда я вас дену!..

– Укрой горемышных, батюшка, спасибо скажем! – низко кланяясь, все тем же жалобным голосом продолжал Гаврилка.

– «Спасибо» за пазуху не положишь.

– Добрым человеком бог правит! Господь бог не забудет.

– Слыхали мы... Каждую ночь слышим... И чего народ бежит с Москвы на Рязань да с Рязани в Москву? Дивуюсь! Чьи вы сами-то?

– Смоленские будем, погорельцы, батюшка, бесприютные!

– Как это вас сюда-то занесло?

– Скитаемся! Хлеба ищем!.. Нутро ноет.

– Вона што! Из каких будете?

– Князей Зарецких тяглые... Да уж и князей-то наших, кормильцев, почитай в живых не осталось... Сгибли, батюшка, под Смоленском... И лошадушки-то их все погибли... И пожитки-то все разграблены...

Парни заревели, как малые дети (дорогою уговорились в трудную минуту слезу пускать).

– Эй, ребята, поперхнетесь! Не люблю! Москва ныне слезам-то перестала верить... Жалобой ничего не возьмешь... Камень в людях. Скажите-ка лучше: против кого вы?!

Гаврилка задумался: сказать «против панов» опасно. А вдруг здесь-то и есть их сторонники?! Сказать «против Ляпунова» тоже опасно. Может, хозяин этого дома единомышленник его. А там Заруцкий, Сапега, Маринка со своим сыном и шведский еще какой-то королевич... Вот и угадай – кого помянуть?

– Супротив сатанинского наваждения мы, супротив злохищного дьявола и учеников его! – проговорил, заливаясь слезами, Гаврилка.

– А кто дьявол: Жигимонд или Ляпунов! – допытывался хозяин избенки.

«Будь, что будет! Не стану кривить душой!» – подумал Гаврилка и ответил тихо и робко:

– Жигимонд.

Хозяин дома весело хлопнул парня по плечу:

– Добро, душа! В горестях совести не растерял. Идите! Заночуйте! Милости просим!

Ребята дружно ввалились в избу. После чистого приятного воздуха полей и лесов показалось душновато, зашекотало в глотке.

Да еще хозяин постарался, вздул огонь в очаге: черный, густой дым закрыл потолок.

Хозяин, средних лет, обросший волосами мужик, сел у каменки, заговорил с тоской:

– М-да, братцы!.. Ветры потянули с Рязани. Пан Гонсевский, говорят, и сон потерял. Круглые сутки, словно сыч, сидит. Никого из домов ляхи на улицы не пускают. Как только вы, злосчастные мытари, в Москву-то проберетесь? Опасно! Безбожные ляхи бродят по всем дорогам и проселкам. Мужика совсем загнали в угоду боярам и дворянам.

Гаврилка, укладываясь на полу, усмехнулся:

– Мужик – деревня, голова тетерья, ноги утячьи, зоб курячий, палкой подпоясался, мешком утирается... За простоту страдает... Как говорится, шуба-то овечья, а душа – человеческая... Прошу прощенья, коли лишнего наболтал!

Все рассмеялись.

– Ого, да ты бойкий! – довольный шуткой парня, промычал хозяин.

– Радость во мне, что до хороших людей добрел. Сам знаешь, обуют Филю в чертовы лапти – и ходи! Можешь на такого нарваться: он тебя продаст и выдаст, чтобы выслужиться.

– Спасибо на добром слове, спите. Не лишнее бы покалякать с вами о делах, да уж ладно... завтра.

Хозяин плюнул в лучину. Зашипела, погасла. Гаврилка проворчал: «Осип, потеснись, чай, не дьяконица!»

Вскоре опять слышался его голос:

– В Рязани-то! Шумят!..

– Ну, и слава тебе, господи! Давно пора.

Хозяин прошептал молитвы, почесался.

– А ты сам-то кто? – продолжал Гаврилка. – С вида черносотник, а языком на слобожанина смахиваешь?!

Наступила тишина.

Хозяин обдумывал ответ.

– Ладно. Завтра скажу, – неохотно откликнулся он.

Поворочались, повздыхали парни, а затем уснули крепким здоровым сном.

* * *

Утром Гаврилка услышал разговор. Было темно. Свет в избу не проникал, так как волоковые, вырубленные в полбревна в двух венцах, оконца были закрыты плотно подогнанными досками-заставнями.

Раздался голос хозяина:

– Поднялись, стало быть?

– Точно, Харитонушко, куда там! Все как один.

– Кто же с ними?

– Зарайский... Митрей Пожарский... Сам вызвался первым идти к Москве.

– Смелой, стало быть?

– Как сказать! Резвый!

Голоса умолкли, но ненадолго.

– Вот я и думаю... Столкнется ли стрелец-то с ними, Буянов?

– Должны бы столкнуться.

Гаврилка привстал на своем ложе.

– Буянов? – воскликнул он с удивлением. – Не стрелецкий ли то сотник?!

– Ты што?! Разве не спишь?! – озадаченно спросил хозяин.

– Да нет, вроде не сплю.

– Буянова-то знавал, нешто?

– Как не знать!.. Под Смоленском сдружились.

– Так вот. Ночевал он тут. На заре укатил.

– Истинный бог?!

– Что же я тебе, врать буду?

– А я и не знал!..

– Вот те и на! Рядом с тобою спал человек, а ты не знал?

Гаврилка вскочил, бросился к двери.

– Сядь! Лапоть коня не обгонит! Молви-ка лучше: куда бредете?

– Куда, куда! – с досадой в голосе ответил Гаврилка, – в Москву. Что же ты мне раньше-то не сказал?!

Он лег навзничь расстроенный, опечаленный.

– Ой, и не легко же, братцы, войти в Москву! У всех застав стража. Намедни нашли в саях у мужиков пищали и самопалы под зерном, поотбирали, а возчиков в прорубь спрятали... Я сам-то еле ноги унес. И меня хотели заодно.

– А Буянов вон усакал и дочку свою, Наталью, оставил. Плакал вчера дядя... «Пытают, говорит, мою девчонку. Тело ее белое жгут».

Этого Гаврилка никак не ожидал.

– Жгут! Да как же это так?! Наталью?! Кто жгет?!

В голосе его послышались слезы.

– Ныне просто. Чему дивиться?! Огня хватит.

– Да где же она, голубка, там? Не знаешь?

– Где? В Кремле у тайного начальника, под Чудовым будто монастырем... Отец сам не знает. Скоморох ему поведал.

Разбуженные этим разговором, поднялись и другие ночлежники. Чья-то рука выдернула из стены втулку. Хлынул утренний воздух. В полусвете видны стали два мужика, сидевшие у стены в унынии.

– Вербами запахло... – сказал один из них и вздохнул.

– Время. Вход в Ерусалим семнадцатого. Скворцы вернулись. Будет ли патриарх-то токмо на Пожар-площади?

– Какая там Пожар-площадь! Больно нужна она им, супостатам!

Какой-то человек в кафтане нагнулся, оглядел Гаврилку.

– Волосы-то пригладь! В Москве лохматых не любят.

– А ты московский?

– То-то и дело. Ты в Москву, а я из Москвы... Бобыль я – не все ли равно, где мне помирать.

– Вот бы и помер в Москве. Чего же лучше!

– Да нет уж, я так!

Все рассмеялись.

– На дорогах-то скорей ухлопают, – усмехнулся Гаврилка. – От волка убежишь, а на медведя попадешь!

Хозяин явно сочувствовал словам Гаврилки.

– Шпыняй! Шпыняй! Так ему и надо! Видать, ты парень дельный.

– Гляди сам – не зря небо коптим. Мыслью имеем!

Хозяин, указав человеку в кафтане на Гаврилку, шепнул:

– Поведай. Ему можно. Парень наш.

Тот перекрестился.

– Сохрани нас, господи! – вздохнул он. – Слухарей много развелось. Опасаюсь.

– Ничего, здесь свои люди.

– Тогда слушай... В Москве бунт готовится... Князь Андрей Голицын заводчиком... будешь там – найди старика Илью Гнутова в Земляном городе у вала... Ворóтник²⁹ он... Шепни ему одно слово «сокол», и он всё вам укажет... Сам я боюсь бунтов... Не хочу... Меня тоже звали, да нет, бог с ними! Хворый я.

Гаврилка жадно слушал незнакомца. У его товарищей тоже глаза разгорелись.

– Крепостных-то принимают? – спросил Олешка.

– Не слыхал, – ответил тот.

– Беда! Помереть за родину и то не дают нашему брату.

– Не верят нам... Опасаются.

Ребята вздохнули, поднялись, чтобы снова идти.

– Помогите, господи, мне хотя бы двоих положить, а третий уж пускай и меня порешит... А может, и трех сподобишь, господи, ухлопать! – перекрестился Гаврилка.

– Ничего. Парень ты здоровый и с пятком справишься.

– Ну прощайте! Помолитесь о нас!

* * *

Следующую ночь парни под видом погорельцев спали в монастыре Святого Саввы.

Монахи встретили беглецов без особой радости, но не показывали и недовольства. Наружно они держали себя, как и всякие монахи, – кротко, смиренно, вздыхали и крестились. Видно было, что они порядком-таки запуганы.

Один чернец рассказал:

– Немного времени назад мы грабили, обижали, предавали христиан, братьев наших, и бичом их истязали без милости, но бог наказал нас. Пришли вольные люди болотниковские и побили игумена, казначея и иных начальников, а монастырских тяглецов распустили, волю им дали... Ныне живем со смирением, бояся смут.

²⁹ Воротник – сторож крепостных ворот.

Гаврилка, выслушав чернеца, показал ему лезвие – «болотниковские и мы» (нарочно сказал, чтобы запугать монаха еще более), а Осип на виду у него повертел кистенем.

– Чуешь?!

– Чую...

– Перебили и мы порядочно вашего брата. За нами большая орда идет. Слухи неважные про вашу обитель. Добывай, где хочешь, три рясы, не то побьем и вас всех до единого.

Монах с великим усердием бросился исполнять приказание Гаврилки.

Парни обрадованно переглянулись.

В скором времени из дверей в коридоре высунулись косматые головы. Гаврилка погрозила пальцем. Головы исчезли.

– Да молчит всякая плоть человека! – провозгласил он строго.

Осип толкнул его.

– Слышь ты! Олешка пропал.

Оглянулись. Действительно, Олешки нет. Куда делся?!

Крикнули что было мочи: «Олешка!» Тишина. Что такое? Не наваждение ли?! Наконец откликнулся. Прислушались. Голос повторился. Заглянули в приоткрытую железную дверь. Погреб. А в нем бочонки. Олешка цедит из крана вино, торопливо пьет, облизывается, губы обтирает рукавом, косясь недоброжелательно на товарищей.

– Эй, боярин, вылезай! Не время бражничать!.

Олешка с норовом дернул плечами: «Не хочу!»

– Смотри, Олешка! Худо будет, – стал уговаривать его Гаврилка.

Нагнулись над погребом. За спиной поднялся шум. Вдруг оба они полетели вниз. Сзади послышались возмущенные выкрики и злобная ругань. Гаврилка почувствовал сильную боль в ноге: ушибся о бочонок.

– Олешка, дурень, что ты наделал? Попали мы, как зайцы, из-за тебя.

Гаврилка приставил лестницу к стене, поднялся.

Дверь снаружи была заперта.

– Эй, братья, отворите! За нами идет толпа таких же, как и мы... Не сдобровать вам, коли не отпустите! Рассекут вас по кусочкам.

Молчание. Гаврилка закричал:

– Проповедники, не губите христианских душ! Латин идем бить, святую веру оборонять!

За дверью послышался смех... и только.

Гаврилка заявил деловито:

– Вот вы нас тут держите взаперти, а мы выпустим у вас все вино, и не вам не достанется, и не нам. Разобьем все бочонки, и вино ваше все уйдет в землю. Вино старое, держаное, очень хорошее, а пропадет даром...

За дверью наступила загадочная тишина. Донесся тревожный шепот: «Отпустим их. Не трогайте. Как бы и взаправду не сотворили беды!» Дверь со скрипом медленно отворилась. Монахи тихо разошлись по своим кельям.

– Пейте за наше здоровье! Бог вам судья! – громко крикнул Гаврилка. Большого труда стоило ему вывести из подвала своих приятелей. Олешка, покачиваясь, бранился. Осип вел его под руку, говоря: «Не гневи бога! Не гневи бога!»

Заплетающимся языком напевал про себя Олешка:

У воробушка головушка болела,
Как болела, как болела, как болела...
Как болела, как болела...

Гаврилка шепнул Осипу:

– Унести бы ноги поскорее, – доколе не побили нас.

Гаврилка и Осип быстро натянули положенные монахом на скамье рясы. Труднее оказалось одеть Олешку. Он бранился, отталкивал товарищей, лез опять к погребу.

Но где ему было бороться с такими силачами, как Гаврилка и Осип! И его облекли в рясу. Опять появился знакомый уже парням чернец. Он стал упрашивать их поскорее покинуть монастырь: «А то как бы беды какой не вышло!»

Гаврилка, озабоченно поглядывавший на Олешку, еле державшегося на ногах, ответил чернецу:

– Исполни, oprичь того, мою просьбу.

– Слушаю, добрый человек, всё сделаю для тебя...

– Кони есть?!

– Как не быть, есть!

– Отвези нас до ближнего села...

– Изволь, братец, изволь, отвезу.

Чернец с большим усердием стал запрягать пару лошадей, а когда запряг, быстро вскочил в сани и натянул вожжи.

Гаврилка обнял Олешку, усадил его позади чернеца. Подгулявший товарищ смирился. Когда сани тронулись, Олешка запел:

Младые пахари, взгляните
С слезой сердечной на меня...

– Помолись на монастырь-то, ишь распелся! Распрощайся со святыми угодниками!.. – сказал ему Гаврилка сердито, когда поехали. – Батюшка Предтеча, уезжаем далече! А вы, иноки, помолитесь богу за нас, грешных, – вино все вам осталось! Есаулы, держись крепче!

Лошади бойко понеслись по Московской дороге.

* * *

Под самой Москвой, в деревушке из пяти черных дымных изб, к парням пристал беглый, украинец Зиновий.

– Великие вероломства на Украине от панов, – сказал он, разводя руками свои длинные, спущенные книзу усы, – Казацтво не знае, як быть... Паны кровь нашу пьють... Ты – вильный чоловик... Казак есть тож вильный чоловик... Мы не крови людской – хозяев казацтву ищем...

– Чего ж тут! Побратаемся, да и только, – сказал Гаврилка и обнял украинца.

Осип и Олешка сделали то же.

– От, молодець! От, воевода! – похлопал Гаврилку по плечу Зиновий. Осмотрел его с ног до головы. – Слухай, братику! Я з тобою пийду. Прибиг спастись до русских.

Як король польский на Украину приходив, так житие наше, як маков цвит, скоро отцвитае...

Зиновий рассказал, что польский король подчинил казацкое войско польскому коронному гетману. Начальников назначили из поляков и немцев. Без старшин казаки никуда не могут отлучиться. Управители панских вотчин ссылают крестьян на днепровские острова, сажают под стражу... Запретили продавать казакам порох, селитру, оружие и даже съестные припасы. Крестьянам не велено отлучаться из своих селений. Кроме налога с десятины, с конских и прочих стад и с ульев, введены оклады звериными шкурами. А где без оружия их добудешь? Введены разорительные пошлыны с рыболовства и другие тягостные обложения. Паны помещики что хотят, то и делают с украинским народом.

Зиновий жаловался, что Жигимонд не только стеснил до последней крайности народ и войска украинские, но и обратил их в безвыходное рабство. Словно хочет совсем истребить украинцев. У всех одно: бежать в Московию... к своим единоверцам...

Зиновий сжал кулак и потряс угрожающе:

– Казак тай годи! У нас пан не задирай головы, або от так!.. – И он сделал движение рукой, будто рубит саблей кого-то.

Обтер рукавом вспотевшее лицо и добродушно улыбнулся. Взял за руки Гаврилку:

– Ты рубаться мастак?

– Коли придется, рубну... – смущенно покачал головою Гаврилка. – Пушкарь я.

От Зиновия немало новостей узнали ребята. Всю дорогу он рассказывал про Украину, про запорожцев. Многие из них просятся в ополчение к Ляпунову, хотят идти против ляхов. Затем он рассказал, что на Украине, под Киевом, оставил свою невесту. По его словам, красивее этой дивчины нет никого на свете. Он даже песенку спел:

Ой, вы, черные бровеньки, горе ж мини з вами.
Не хочите ночеваты ни ноченьки сами.
Хочь хочите, не хочите, треба ж привыкати.
Милый милу покидае – сам вин отъезжае,
Ой, в туге³⁰ свою серденьку саму оставляв...

– Ничего, – утешил его Гаврилка. – Вернешься к своим черным бровенькам, а коли не вернешься, не беда, другой казак найдется... Не один ты на белом свете!

Черкас, хмуро сдвинув брови, решительно заявил:

– Такой, як Зиновий, один!

– С тобой не соскучишься... Не заметишь, как и в Москву придешь!.. – сказал обрадованный новым спутником Гаврилка.

³⁰ В тоске.

XII

По базарам ходили духовные люди, объявляя: «Ясновельможный пан Гонсевский, во имя уважения к древним обычаям русского народа, изволил разрешить патриарху Гермогену соблюсти обряд торжественного выезда на ослиати в Вербное воскресенье из Кремля на Пожар-площадь».

В Китай-городе, в Рыбном ряду, скоморох Халдей встретился с Игнатием.

Одет был Халдей в зеленый мешок с оплечьями³¹ из желтой выбойки, на голове, как всегда, – деревянная шляпа.

– Шавочка, душечка, какому ноне царю служишь? – засмеялся он, подойдя к Игнатию.

– Мотри! Оставь глумы³²! Не такие дни, Константин.

Халдей отвел инока в сторону, чтобы никто не слышал:

– За Гришку Отрепьева молился?!

Игнатий побледнел.

– Молился. Что ж из того?! – тихо проговорил он.

– Бориса проклинал?

– Проклинал... Так ему и надо!

– Василия Шуйского...

– Прочь от меня, скоморошь проклятый!..

– И я в цари попал!.. – расхохотался Халдей. – И меня проклинаешь?!

Игнатий притворился игривым.

– Съем! – бросился он на скомороха.

– Брешешь, боров, подавишься! Глотай своих богомольцев, а меня погоди... Не довелось бы мне тебя слопать!

Инок подозрительно осмотрелся по сторонам. «Идем!

Да возвеселимся, яко Давид!» – постарался он обратить пререкания в шутку. То, что прощается скомороху, то не простится ему.

Пошли. Игнатий поминутно оглядывался.

– Нет ли ярыги? Следят и за нами, – вздохнул он, – гнетут и нас за кабаке непотребный...

Под часовней Ивана Крестителя в глубоком подземелье бушевал кабак. Пламя свечи на каменном выступе стены колебалось.

Игнатий и Халдей примостились к углу за печью. Игнатий грустно вздохнул:

– Зачем я приехал в Москву? Ошибся. Всю жизнь вот так. Ищу и ищу чего-то...

– Всеу вздыхаешь. Паны тебя балуют. Из заточения выпустили... Того и гляди, митрополитом станешь.

Игнатий махнул рукой.

– Не чаю! Тому, что было, не бывать.

В минуту пьяной скорби Игнатий не скупился на слова. Про Наталью Буянову так же вот, под хмельком, рассказал.

– Сроду так: панская ласка только до порога? – посочувствовал Халдей.

– Глупый ты, веретено!.. – обиделся инок. – Да разве я о том?! Сан мой остался при мне, хотя я и опозорен, и унижен. И ум при мне. И желания тоже. Не о том думаю я.

– О чем же?

– Принеси-ка еще вина... вот о чем!

³¹ Оплечье – вшитый в плечи одежды кусок холста (вставка).

³² Глумы – скоморошья забавы, издевательства.

Скоморох сбегал, принес два жбана: «Ну, говори!» Инок обтер рукавом усы и бороду, нагнулся:

– На Вербное сзывают народ для пагубы... Истребить хотят. Мне жаль тебя, хоть ты и шут, а справедливый человек. Не ходи! Убьют!

– На кой же ты сзывал?

– Стало быть, надо, – огрызнулся инок.

Гусляр тянул в темноте:

Жи-ил бы-ыл старец один наедине.
По-остроил ста-арец келью со-оломенную;
По-ошел ста-арец к реке за водой,
Навстре-ечу ста-арцу де-евок хоровод:
Поча-ал ста-арец скакать и плясать,
Ска-акать и пляса-ать...

Игнатию стало скучно со скоморохом, он задремал, а потом и уснул.

– Купался, бобер, не купался, тока вымазался... – со злой усмешкой, глядя на Игнатия, произнес скоморох и быстро вылез из погреба. В епанечном ряду поймал за платок какую-то торговку, сказал ей на ухо: «Говори по всем посадам, чтобы на Пожар-площадь в воскресенье не ходили, ляхи губить православных будут... Мечами рубить... Дура! Чего рот разинула? Беги!» Торговка, подхватив одной рукой подол, другой корзину, побежала. Халдей внимательно проследил за ней. Она заметалась от одного ларя к другому, сообщая страшную весть. Поймал скоморох какого-то парня и ему шепнул. Тот стрелой понесся по базару. Напуганные и без того в последнее время и торговцы и покупатели переполошились.

Из епанечного ряда Халдей побежал в Гончарную слободу. Там произошло то же.

Пожар-площадь и Вербное воскресенье вскоре были у всех на устах.

К вечеру Халдей побывал в Деревянном и Белом городах, Везде говорил: «Сидите в Вербное по домам, патриарха не встречайте! Попам, зовущим вас на площадь, не верьте! Заманивают они на погибель!»

* * *

Все московские «сорок-сороков»³³ тяжело гудели в утро Цветного (вербного) воскресенья. Солнце золотило купола кремлевских соборов, пригревало Москву-реку, оживило пестрые посады, сверкавшие кусками таявшего снега. Кружили голубиные стаи.

В Успенском соборе совершалось патриаршее служение.

Дряхлый, худой Гермоген, одетый в пышное парчовое облачение, с громадной, осыпанной жемчугом и драгоценными камнями митрой на голове, еле-еле держался от старости на ногах, опираясь костлявой рукой на свой высокий серебряный посох. Едва слышно, старческим голосом, произносил он молитвы. Мутный взгляд его был обращен вверх, туда, где ворковали набившиеся в разбитое окно голуби. После выходов садился он в алтаре на красную бархатную скамеечку, опускал трясущуюся голову на грудь и нашептывал про себя молитву. В соборе присутствовала вся кремлевская знать: бояре, окольные, городское дворянство. Так пожелал Гонсевский. Все должны были почтить, этот день, провожая из Кремля патриаршее шествие на «осляти» к Лобному месту. Паны скромно заявляли, что они не позволят себе чинить каких-либо стеснений в исполнении православными их исконных, древних обычаев. В это утро католическое духовенство на улицах Кремля не показывалось.

³³ Так называли московские церкви.

Бояре молились и думали: «Проклятые латыняне! Не сможете вы провести нас! Пушкой гоните, и тогда не пойдем на площадь!»

Один патриарх не ведал, что творится. Ему казалось, что сегодня он растрогает всех жестокосердых и своекорыстных, поднимет мужество в народе своим обрядом отождествления себя с Иисусом Христом, шествующим на ослати во град Иерусалимский. Ему казалось: вот он появится на плащади, и несметные толпы народа падут к его ногам и будут оплакивать вместе с ним горькую судьбину государства. А он произнесет такое слово, которое вызовет в народе еще большую привязанность к православию, заставит братски объединиться и ополчиться князей и их рабов на панов и иезуитов.

Патриарх служил с большим усердием и, волнуясь, думал только об одном: чтобы хватило у него сил доехать на коне на площадь и стать лицом к лицу с народом.

Патриаршая жизнь и прежде, до этого, мало чем отличалась от жизни заключенного. Только три-четыре раза в год ему полагалось показываться народу. В дни польского владычества народ и вовсе его не видел.

Служба кончилась.

Подвели к паперти Успенского собора породистого коня в парчовой попоне. Боярские дети стояли тут же, держа большие свитки разноцветных суконных дорожек. Толпились в ожидании патриаршего выезда и суетливые кремлевские обыватели, с кафтанами под мышкой, которые «для счастья» намеревались сунуть под ноги патриаршему коню.

В толпе был и одетый крестьянином Халдей. Он всячески старался уклониться от встречи с Игнатием, который юлил около бояр. Халдей делал всё, чтобы его не узнали. С замиранием сердца он ждал выезда патриарха из Фроловских ворот на Пожар-площадь.

Ни одного поляка не было вблизи собора. Зато (об этом хорошо знал Халдей) немало вооруженных солдат находилось на кремлевской стене и в башнях. Ночью их разводили региментари и ротмистры³⁴ по местам засады. Халдей слышал в темноте распоряжение Пекарского, чтобы жолнеры дружно стреляли со стен и из башен в богомольцев, когда те сойдутся на площади. От Игнатия Халдей узнал, что к этому подбивали поляков не кто иные, как Михаила Салтыков и Федор Андронов, юркий, ненасытный прасол, облеченный большой властью в Кремле.

В последние дни благодетельствованные королем бояре не отходили от панов. Двинувшееся на Москву ляпуновское ополчение пугало их. Михаила Салтыков и Федор Андронов окружили свои дома крепкою стражею из польских жолнеров. Стрельцам они уже не доверяли. Русский народ стал им подозрительным и чужим. Он мешал их благополучию. А оно росло не по дням, а по часам: обзавелись, по милости короля, новыми вотчинками, деньжонками из кремлевской казны, обрядили богато своих жен и детей... Выезды роскошные завели: прекрасных скакунов, ковровые возки с гайдуками на запятках; пиры с мазуркой и пр. Вино варили у себя в домах наподобие заморского (польские винокуры научили). Все сулило наступление «счастливого времени». Но вот... поди ж ты! Народ все чем-то недоволен, все ему чего-то нужно!

В этот день Вербного воскресенья, семнадцатого марта, московские жители еще нагляднее показали свое единомыслие.

Халдей торжествовал. На Пожар-площади, кроме духовенства, кремлевских дворян, польских и немецких латников, не было ни души.

Выехав на площадь на своем «осляти», которого вели поочередно бояре, патриарх Гермоген сразу увидел, как он одинок. Около него были попы, служилые люди и поляки. Народ, к которому он хотел обратиться с призывной речью, отсутствовал.

Потом, когда шествие кончилось и патриарх, вернувшись в Кремль, снова был отведен польской охраной в место своего заточения, Халдей увидел сошедшего с башни пана Гонсев-

³⁴ Ротмистры – командиры хоругвей или эскадронов. При каждом из них находились два-три «пахолика» (оруженосца).

ского в сопровождении своих помощников, панов Борковского, Доморацкого и Пекарского. Он подозвал к себе Салтыкова, Андропова и других окольничих и бояр, стал их бранить. Лицо его от злости побелело. Бояре низко кланялись, будто они и в самом деле провинились в том, что панам не удалось перебить на площади московских людей.

* * *

Михайла Салтыков поднимался по лестнице в терем дочери, сухо покашливая; это означало, что он не в духе.

На пороге остановился.

– Почто пожаловал, батюшка, господин мой? – низко поклонилась ему Ирина.

Молча, пытливыми глазами глядел на нее Салтыков.

– Ты что, батюшка? – испугалась она.

– Видать, мы и состаримся, а уму не научимся, – нахмурившись, произнес Михайла Глебович. Сел на лавку.

Ирина стояла перед ним, виновато опустив голову.

Она знала, зачем он пришел и почему он в последнее время так строг с ней. Ведь ее родители были так уверены, что пан Пекарский женится на ней. Михайла Глебович решил, если королю не удастся утвердиться в Москве, то переехать в Польшу и дожить остаток лет в замке Пекарского, своего зятя. Этот шляхтич слыл очень богатым и знатным человеком в Польше.

Ляпуновское ополчение напугало Салтыкова. Мысль о бегстве в Польшу сменила мечту о первенстве на Руси. Даже во сне он теперь бредил Польшей, королевскими милостями, проклинал бояр и мужиков. Мудрым и правым казался ему только король Сигизмунд.

По ночам он пугал свою престарелую жену дикими, нечеловеческими криками во сне. Она поднималась при свете лампад, кропила его святой водой, а утром рассказывала об этом Ирине. И добавляла: «Все из-за тебя, Иринушка, не сумела ты привадить пана... Не ходит он больше к нам...»

– Ну, чего же молчишь?! – крикнул дочери Салтыков. – Иль с отцом и говорить не о чем?..

На глазах у Ирины выступили слезы.

– Не могу понять, что со мной!.. – тихо молвила она. – Ахти, горе мое великое!.. Нигде душенька моя покоя не находит... Тоска гложет меня смертельная и печаль несносная... И зачем он явился на нашей православной земле, враг он лютый, нехристь окаянный?.. И не лучше ль мне рученьки на себя наложить?..

Мрачно сгорбившись, сидел на лавке Михайла Глебович. Ему жаль было дочь, но еще более того было жаль, что не удастся ему породниться с польским шляхтичем, что ускользает у него из рук помощник Гонсевского, ясновельможный пан.

– Трудно ль человека приворожить? Строга, видать, ты была, норовиста? Михайла Глебыч вдруг хмуро улыбнулся и со значением сказал: – Не видела ты в нем будущего домовладыку, не верила в него, стало быть. Не была смелой. Вот в чем вся суть... Я тебя не нудил, как иные бояре. Не держал, яко медведицу, на цепи. Иные, посмотрю, есть польские девки: змию василиску подобны. Привлекают. В очи черноты напустят, в одеяния багряные облачатся, перстни на руки возложат и на лукавые дела тщатся... Заманивают! И все составы свои в прелести человеческой ухищряют и многие панские души огнепальными стрелами устреляют... Како расслабленные, паны около них бывают... Ты, видать, у нас не такая. Вот он и ушел от тебя. Э-эх, матушка Русь! Где тебе гнаться за Польшей!

Ирина молчала. Она смотрела на отца испуганными глазами. Вот кто во всем виноват! Он, ее отец! Сам он свел свою дочь с этим лютым зверем, с гадом, навеки опозорившим ее,

сделавшим ее несчастной. О, если бы отец знал, как она привлекала пана, как была послушна ему и что из того вышло! Стыд и страх мешали ей открыть всё. Разве можно отцу рассказать об этом?!

Михайла Глебыч посидел еще некоторое время около дочери молча, повздыхал, в раздумье покачивая головой, помолился на икону и ушел.

Ирина бросилась на постель, уткнулась в подушки, стараясь заглушить рыдания...

ХІІІ

В ожидании военной бури притихла Москва. На окраинах пристава, толстые, широкие, но проворные и цепкие, хватали каждого, кто попадался им на глаза. Конные патрули медленно объезжали пустынные улицы. Они хорошо вооружены и горды тем, что все их боятся, все попрятались от них в свои дома.

С одним из таких патрулей и повстречались у Калужских ворот Гаврилка, Осип, Олешка и Зиновий. Не успели рта разинуть, как их, невзирая на их иноческий вид, забрали на работы в Кремль.

Там происходили воинские упражнения польско-литовских солдат и немецких и прочих ландскнехтов. Таких рослых горячих коней, как у королевских гусаров, никогда не приходилось видеть парням. («Вот бы нам!») Поляки на скаку прокалывали чучело: а на чучеле была красная мужицкая рубаша да холщовые порты и даже лапти, привешенные на бечеве. С торжествующими выкриками гусары всаживали в него копья и, ловко вытащив обратно, мчались дальше. Пехота занималась фехтованьем. Лязгало железо. Со всех сторон доносились голоса команды. Немецкие наемники в пешем строю внимали бойкому кривоногому пану, который весело объяснял им что-то, помахивая рапирой в сторону Китай-города. Медные доспехи немцев, тщательно начищенные, ярко блестели на солнце. От лошадей шла испарина.

Знаменосцы подняли знамена, как будто готовясь к походу.

Дьяк-вербовщик погрозился на Гаврилку:

– Эй, не засматривайся!.. Зри на небо!

Гаврилка так и подумал: ляхи идут воевать. Но против кого?! Мурашки пробежали по телу. Ему вспомнились бои под Смоленском.

Парней привели на работу в костел. Шла проповедь. Вербовщик приказал обнажить головы.

Закатив глаза к небу, прелат вдохновенно восклицал:

– Скоро, скоро увидим ожидаемый нами день, когда свет, дотоле помраченный, засияет над всей Московией, и если это совершится, будет благо для всех просвещенных государств. Ныне мы, по смирению нашему, молчим о будущих делах. Мы опасаемся дерзких москвитян. Доколе наш государь не утвердится на московском престоле и не убедит верных королю вельможных бояр в спасительности унии, дотоле не будет и порядка на Руси.

Проповедник напомнил полякам о письме римского папы Павла V, в котором папа писал Лжедмитрию: «...Мы не сомневаемся, что ты хочешь привести в лоно римской церкви народ московский, потому что народы необходимо должны подражать своим государям и вождам. Верь, что ты предназначен от бога к совершению этого спасительного дела. Воспользуйся удобностью места и, как Константин Первый, утверди здесь римскую церковь. Так как ты можешь делать на земле своей всё, что захочешь, то повелевай...»

Прелат, грозя кому-то пальцем, как бы с упреком, заявил:

– Надо помнить, что убитый москвитянами «добрый и природный царь Дмитрий Первый дал папе в том клятву».

По словам прелата, после смерти «Дмитрия Первого» эту клятву должны выполнить верные королю бояре.

Заметив в костеле русских мужиков, какой-то шляхтич подошел к вербовщику и шепнул ему, чтобы тот увел их из костела. «Здесь будет говориться такое, чего не должны слушать русские уши».

– Сучий сын!.. – покраснев от злости, прошептал Зиновий, хорошо знавший польский язык.

Вербовщик повел их, как пленников, со стражей, к Никольской башне.

Там тоже предстояла работа – уравнивать каменное основание под пушками.

* * *

«Потворенная баба» Оксинья, которая «молодые жены с чужи мужи сваживала», старалась утешить плакавшую Ирину.

– Женщине соблудить с иноземцем простительно, – говорила она в утешение, лукаво улыбаясь. – Дите от иноземца родится – крещеное будет... А вот как мужчина с иноверкою согрешит, так дите будет некрещеное... Мужiku грешнее: некрещеная вера множится...

– Ах, да ты не о том говоришь, убогая!.. – недовольно оттолкнула от себя Ирина «потворенную бабу».

– О чем же мне, матушка, и говорить тогда? – обиделась та. – У меня одно дело.

– Грешно, Оксинья, о том теперь... Грешно!

– А чтобы грешно не было, снимай, голубушка, в те поры крест с себя, занавешивай образа, – непристойно блуд видеть иконам. После того грешное дело богом завсегда простится. Иконы надо завешивать... – нравоучительно повторила Оксинья... – Испокон века так ведется... Боярыни и боярышни этим лишь и спасаются. Непристойно иконе видеть наши грехи.

– Уйди от меня!.. Ты! Ты во всем виновата!.. Ты сбила меня своими речами пустошными и блудными. Ты в наши терема соблазны приносила! Ты! Ты!.. Не хочу я дите!..

Ирина вскочила с кресла, замахала руками на Оксинью. На ней была длинная рубаха красного цвета, поверх которой она накинула серебротканый летник. Лицо ее позеленело.

Оксинья в страхе попятилась. Прошептала:

– Стой! Стой! Обойдется! Пришлю знахарку... Она знает наговор!

Девушка закрыла лицо руками.

– Спаси меня, спаси! – тихо всхлипнула она.

«Потворенная баба», получив горсть серебра, поклонилась и вышла.

* * *

В желтом колпаке, с вымазанным в синюю краску носом, в зеленом кафтане, на котором были нашиты разноцветные лоскутья, изображавшие мечи, бердыши, луки, в комнату Ирины вошел Халдей.

– Увы нам! – взволнованно произнес он. – В Китай-городе начался мятеж...

Уже?! Не зря в последние дни Ирину мучили бессонница и какое-то неприятное предчувствие. Вот почему отец забыл и мать, и ее!.. Дни и ночи он проводит у Гонсевского.

Ирина слышала задыхающийся голос Халдея:

– ...Твой отец... в Цветное сказал ляхам... Он учил их... Ирина насторожилась:

– Что он сказал? Кого учил?!

Глаза скомороха сверкнули гневом:

– Твой отец... Иуда он!

Халдей видел перед собой исхудавшую, глубоко несчастную Ирину, ее растерянно жалкий взгляд из-под золотых ресниц, но его сердце, полное ненависти к Салтыкову, не могло смягчиться.

– Беги к отцу! Удержи его!.. Они готовят с Гонсевским смерть... гибель... народу! Помешай пролитию крови, и муки твои уменьшатся. Отврати беду от нас!

Девушка поднялась, подчиняясь горячим словам Халдея.

Ирина торопливо надевала на себя опашень, путаясь в длинных, спускавшихся до земли рукавах... Скоморох помог ей.

– Где отец?

– В старом Борисовом дворце. Беги туда! Там все собрались...

Но только Ирина хотела выйти, как на кремлевском дворе прогрехотал орудийный выстрел. Послышались гудки, бой барабанов и литавр, крики, шум...

Ирина и Халдей в тревоге побежали вниз на улицу.

К Фроловским воротам по площади в стройном порядке спешно шагал отряд немецкой пехоты. Региментари и ротмистры с саблями наголо бегали среди раскинувшегося вдоль кремлевской стены гусарского табора.

Из-за деревянных хором, из-за заборов выходили все новые и новые роты жолнеров.

Халдей хмуро сказал:

– Поздно!

Ирина, испугавшись шума и множества людей, скрылась у себя в крыльце.

Халдей увидел толпу жолнеров, которая насильно гнала по Пожар-площади извозчиков в Кремль втаскивать пушки на стены. Извозчики крестились, божились, ругались, но ехать в Кремль не хотели. Собралась толпа. Стала на сторону извозчиков. Оттеснила поляков. Те обозлились. Приготовились стрелять. Но... толпа росла, делалась смелее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.